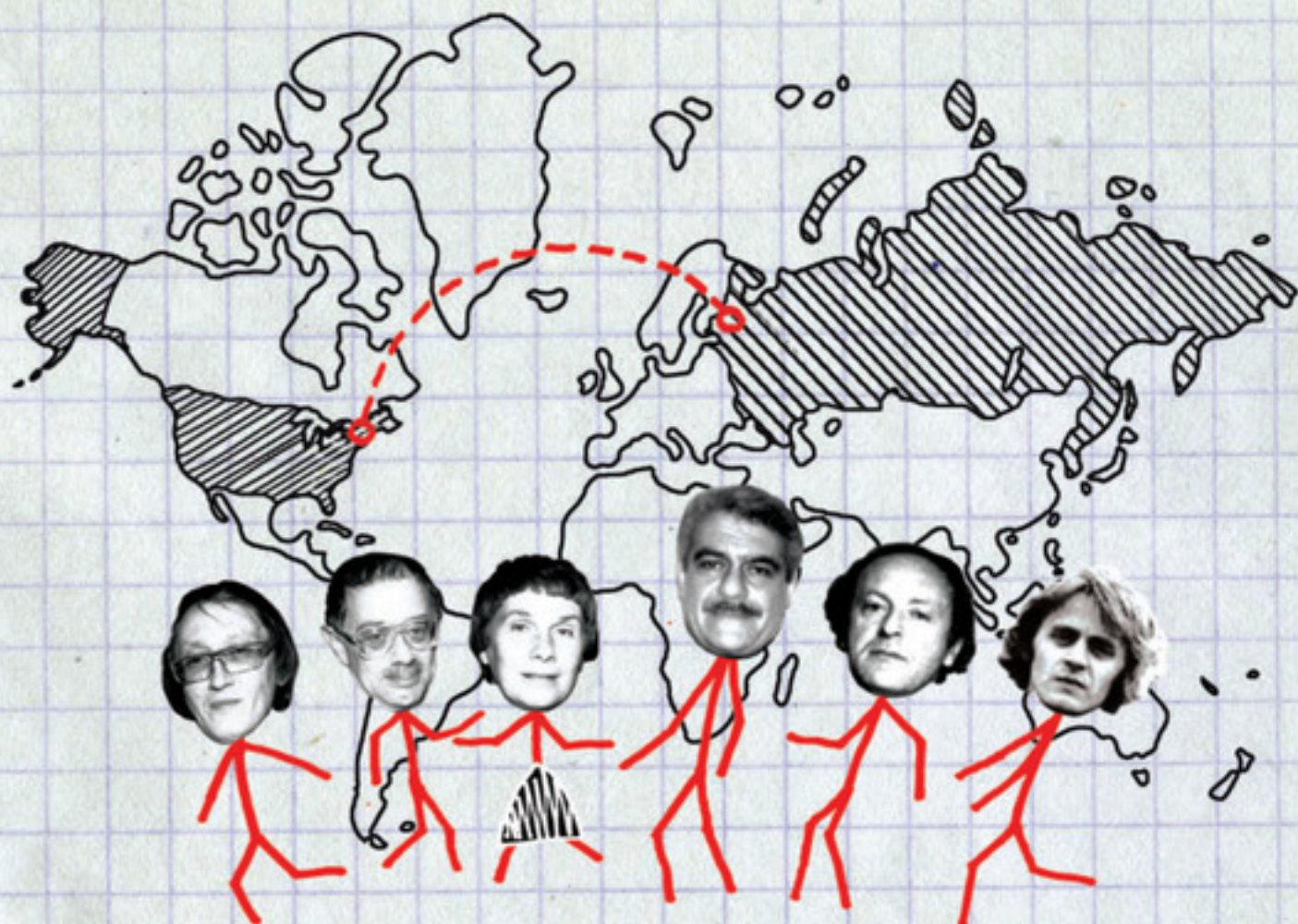


ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ЕЛЕНА КЛЕПТИКОВА



ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В НЬЮ-ЙОРК

ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ АВТОРА:

Барышников, Бродский, Довлатов,
Шемякин и Соловьев с Клептиковой

Мир театра, кино и литературы (Рипол)

Владимир Соловьев

**Путешествие из Петербурга в
Нью-Йорк. Шесть персонажей в
поисках автора: Барышников,
Бродский, Довлатов, Шемякин
и Соловьев с Клепиковой**

«РИПОЛ Классик»

2016

УДК 821.131.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Соловьев В. И.

Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк. Шесть персонажей в поисках автора: Барышников, Бродский, Довлатов, Шемякин и Соловьев с Клепиковой / В. И. Соловьев — «РИПОЛ Классик», 2016 — (Мир театра, кино и литературы (Рипол))

ISBN 978-5-386-09569-7

«Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк» – мемуарно-биографический опус о любимых нами героях целой эпохи. Соловьев и Клепикова знали Бродского, Довлатова, Барышникова, Шемякина еще с ленинградских времен и впоследствии тесно общались, дружили. Все они сформировались как художники еще в Ленинграде, а доосуществились уже за океаном, в Нью-Йорке. В своей книге авторы честно и без прикрас описывают знаковых персонажей своего поколения, создавая объемный, подлинный, неоднозначный портрет поистине легендарных наших соотечественников.

УДК 821.131.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-386-09569-7

© Соловьев В. И., 2016
© РИПОЛ Классик, 2016

Содержание

Владимир Соловьев. Отсутствие есть присутствие. Манифесто моего поколения	7
Мы – и они	7
Ни на йоту!	12
Modus operandi & modus vivendi	16
Козлиная песня	21
По московскому времени. Казус Владимира Соловьева	26
Быть Сергеем Довлатовым. Жизнь после смерти	33
Канва жизни Сергея Довлатова	33
Даты. События. Комментарии	33
Елена Клепикова. Трижды начинающий писатель	36
Ленинград: хождение по мукам	36
Таллин: бросок на ближний Запад	49
Нью-Йорк: дебют – триумф – смерть	52
P. S. Реплика на фейсбуке по поводу мытаря	58
Владимир Соловьев Из довлатовского цикла	61
Уничтоженные письма	61
Перекрестный секс	74
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Владимир Соловьев, Елена Клепикова Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк. Шесть персонажей в поисках автора: Барышников, Бродский, Довлатов, Шемякин и Соловьев с Клепиковой

*Нас немного, да и тех нет.
Пушкин – Грибоедову. В пересказе Тынянова*



...Что еще нас – помимо десятилетия, когда мы родились, – друг с дружкой сближало: все мы – Довлатов, Бродский, Шемякин, Барышников, Соловьев с Клепиковой – питерцы. Не совсем топографическое, а скорее культурное землячество. Тайное содружество, типа масонской ложи. Все мы сформировались как художники еще в Ленинграде, но доосуществились уже здесь, приземлившись в Нью-Йорке. Что важнее – питерская закваска или нью-йоркская прописка?

По-Капоте, non-fictional novel (невывмышленный роман), докупроза, еще кратче – faction: неразрывная жанровая спайка fact & fiction. А отсюда уже гибридный жанр этого мемуарно-аналитического пятикнижия, эту книгу включая: аналитические воспоминания и бесстыжая проза.

Владимир СОЛОВЬЕВ & Елена КЛЕПИКОВА

К сожалению, все правда...
Сергей ДОВЛАТОВ о первой книге этого мемуарно-аналитического сериала

* * *

© Соловьев В., 2016

© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016

Владимир Соловьев. Отсутствие есть присутствие. Манифесто моего поколения

Мы – и они

Начать с того, что все мы отрицали связь с евтушенками, как я переименовал и поименовал – не знаю, закрепится ли этот мой мем за ними – шестидесятников в посвященных им книгах «Не только Евтушенко» & «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых», предыдущих инкунабулах моего пятикнижия о тех, кого знал в личку – иных близко, даже слишком близко, чем тесней единенье, тем крошечней разрыв, да? – зато других – шапочно, отдаленно, отчужденно, живописен дальний замок – приближаться толку нету, тем более о замке и речь: классический балет есть замок красоты. Таки ухитрился в первую же, пусть прустовскую фразу вплести аж три раскавыченные стиховые цитаты, но – скорее объяснение, чем извинение этому моему центону последует далее, а сейчас единственно поясню на всякий случай, что последний стих посвящен Барышникову, на которого я гляжу через оркестровую яму и первые ряды зрителей – с меня довольно.

Они – евтушенки – герои тех моих упомянутых книг. **Мы** – герои этой моей новой книги: Бродский, Шемякин, Довлатов, Владимир Соловьев с Еленой Клепиковой. Владимир Соловьев завершает это шествие. Каждый из нас сам по себе, плюс Барышников, пусть и под вопросом – больше видал его на сцене и на экране, чем лично, да и то на проходах. На чем настаиваю: отрицание не самих шестидесятников – скопом либо в розницу, – но связи с ними и с обозначенным ими креном – скорее, чем направлением – в нашей культуре: шестидесятничества как такового. Отрицание во имя самоутверждения? А хотя бы и так! Но не только. Отцы и дети? Скорее сиблинги, но не близнецы и даже не погодки, а старшие (они) и младшие (мы).

Мы от них отмежевывались, опасаясь ложных атрибуций и аналогий, а тем более отождествлений. Чего мы боялись, так это потерять лица необщее выражение. Потому и необщее, что не поколенческий лик, а лицо – личное, индивидуальное, у каждого свое. Это у тех – у них – общее, коллективное, групповое, при всех отличиях одного евтушенки от другого евтушенки, выходило на передний план, под общую гребенку, под общий знаменатель, как на том групповом многоярусном портрете в мастерской Бори Мессерера, последнего, уж не знаю какого по счету – не считано! – мужа Беллы Ахмадулиной. Не в силу ли этой полигамии и перекрестного секса – пусть не единственная причина – Белла и сочинила стиховую апологию литературной групповухи, хоть и посвятив ее Андрею Вознесенскому, но многозначительно назвав «Мои товарищи» и кончив обобщением, позабыв о главном герое:

*Все остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!*

Можно себе представить нечто подобное у моего, у нашего поколения? Даже ахматовские сироты, где один только Бродский, младший из них, принадлежал к моему поколению, остальные, по возрасту евтушенки, разбежались кто куда, и прижизненную эпитафию их распавшейся дружбе – в противоположность апологии Беллы – сочинил Бобышев, после Бродского самый из них одаренный:

*Закрыв глаза, я выпил первым яд,
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
Душа прозрела; в череду утрат
Заходят Ося, Толя, Женя, Дима
Ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядя...*

Конечно, и у евтушенок случались разрывы – того же Евтушенко с Вознесенским, но там не поделили славу, а у нас на физиологическом, базовом, генитальном уровне, пусть генитальный не всегда относился к сексу, как у Бродского с Бобышевым, а у Довлатова с Аксеновым, которые не поделили не славу, а вагину. Однако мы изначально были единоличниками, собственниками, числитель ставили превыше знаменателя и групповухи чурались, как огня. Потому так старомодно и трагически переживали мы измену любимой женщины (Бродский, Довлатов), тогда как наши предшественники е*лись наперекосяк, не придавая этому роду занятий большого значения и даже не очень понимая разницу между адюльтером и промискуитетом. Привыкли быть на виду, интим включая, хотя само это определение – *перекрестный секс* – придумал устно Довлатов, а пустил в письменную словесность я, назвав так «рассказ Сергея Довлатова, написанный Владимиром Соловьевым на свой манер». Отмежевываясь от евтушенок, мы одновременно порывали друг с другом, но об этом не прям сейчас.

Они родились в 1937-м и округ того исторического года советской истории, хоть я и расширил само это понятие – евтушенки – за счет кирзятников и других рожденных в 20-е, но проявившихся опять-таки именно в 60-е, дети хрущевской оттепели, хоть их политический отец и обрушился на них со всей мощью своего невежества, тем самым дав им еще и жертвенную славу преследуемых, пусть и умеренно, без крови в наступившую вегетарианскую эпоху. В том числе на крестного отца этого культурной генерации – Илью Эренбурга, с легкой руки которого пошло гулять по свету само это слово – *оттепель*. А уж евтушенки-шестидесятники выдавили из этого тюбика больше пасты, чем в нем наличествовало. Не без сторонней помощи, ЦРУ участвовало в этой операции наравне, а может, и в тайном сговоре с КГБ, как параллельные линии сходятся где-то там к центру Земли, ну в постэвклидовом пространстве – см. мое исследование-расследование «Мой друг Джеймс Бонд. Как поссорился Иосиф Александрович с Евгением Александровичем» в предыдущих выпусках моего пятикнижия. Кстати, этот конфликт Бродского с Евтушенко можно рассматривать как частный пример нашей общей контроверзы с евтушенками, хотя к ней примешан личный, конъюнктурный, соревновательный элемент, и морально я скорее на стороне евтушенки Жени Евтушенко.

Однако по сути это был все-таки мировоззренческий конфликт: Бродский всячески отрекся не только от Евтушенко, но скопом от всех евтушенок, от всего шестидесятничества с их дозволенным диссентом, да и не был шестидесятником ни по возрасту, ни по тенденции, ни по индивидуальности – слишком яркой, чтобы вписаться в прокрустово ложе массовки: одинокий волк. Вот почему, кстати, не права Эллендея Проффер, когда объясняет отрицание Бродским Беллы Ахмадулиной тем, что та была когда-то женой Жени Евтушенко. Чьей только женой она не была!

Случались, правда, и внутренние конфликты внутри шестидесятничества по возрастному принципу. Укажу только на один с трагическим концом. В предыдущей книге этого мемуарно-аналитического цикла «Памяти живых и мертвых» есть глава «Младший шестидесятник. Убийство в Розовом гетто». Речь там идет о моем кратковременном друге, бескомпромиссном правдолюбце Тане Бек: 1949-го года рождения, она, тем не менее, пристала к

шестидесятничеству, которое ее и сгубило: ее самоубийство я рассматриваю и трактую как отчужденное убийство путем отторжения и остракизма и называю поименно ее коллег по поэтическому цеху во главе с застрельщиком травли Женей Рейном, который извел, доконал Таню. Евгений Лесин пишет теперь про ТБ:

*И если б тогда вас не съели одни,
Сегодня бы точно убили другие.*

Пусть так и будет: **они** – и **мы**. Это если хронологически, но сюжетно, путем рокировки, согласно драйву книги: **мы** – и **они**. Одно из пробных названий книги о них, которая потом распалась на две вышеназванные типа складня: «Младший современник» – это я по отношению к Евтушенко, Ахмадулиной, Окуджаве, Высоцкому и прочим. Не только по возрасту, но и по возрасту тоже: *сороковники* – рожденные в «сороковые, роковые», как определил эти годы один из кирзятников, Дзизик Самойлов. Другой кирзятник Борис Слуцкий, которого Ося ласково называл Борух, да и стихи кропать стал благодаря ему, а Борис Абрамович – один из немногих москвичей, кто держал тогда Бродского за поэта, когда большинство евтушенок (сам Евтушенко – еще одно исключение) вчистую отрицали, сочинил про нас стихотворение. Не поразительно ли – поэтическая дальнорочность Слуцкого сработала не только на вчерашний день, но и на завтрашний, который он угадал и предсказал в стихотворении, посвященном нам, сороковникам и сороковницам (Елена Клепикова). Стихотворение это про нас так и называется – «Последнее поколение».

*Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» —
в сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.
Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.*

Неувязка здесь стиховая, а не семантическая: Бродский – 1940, Довлатов – 1941, Соловьев и Клепикова – 1942, Шемякин – 1943, а Барышников тот и вовсе в этом хронологическом контексте «человек со стороны» – 1948 года рождения. Что с того? Барышников сам подтвердил свою принадлежность к нашему поколению, а не только дань дружбы, сыграв великого поэта в спектакле Алвиса Хераниса «Brodsky/Barishnikov». А как малочисленно было наше поколение – странно, что мы были вообще: помню, как наш десятый класс «А» слили с десятым классом «Б» – единственный, который у нас в школе остался без литеры. И главное – на нашем поколении занавес опустился и на авансцену выкатился конференс/перформанс. Бродский говорил: за мною не дует. То же самое мог сказать каждый из нас, что не исключает отдельных штучных и раритетных всплеск в последующих поколениях, которые говорят по-русски на незнакомом мне языке – странно, что мы еще понимаем друг друга! – а мой называют доквантовым. «Ах, ну какая там узда, Володя! я ж в совсем другой парадигме. Осознанная спонтанность в примерном переводе на ваш доквантовый язык», – пишет мне София Непомнящая, моя московская подружка на фейсбуке. А коли доквантовый (лучше, чем докантовый), то и пространство, в котором я обитаю, эвклидово, а потому мне в нем так комфортно и уютно, хоть и тесновато, как в девичьей нерожалой вагине, что хочется

затянуть в него племя младое, незнакомое путем языковых ему уступок. Включая цитируемую блогершу, с которой у меня киберроман – уж больно собой хороша, и надеюсь, пусть не геронтофилка, но и не эйджистка: любит – не любит не по возрастной стратификации.

Не то чтобы, задрав штаны, бегу за комсомолом – реакции, импульсы и базовые инстинкты у них как раз если не прежние, то схожие, зато русский язык там круто и неотвратимо меняется, слова явились о третьем годе их гласности после долгой зимней спячки либо летаргического сна, *mixed metaphor*, и я осваиваю новоречь как иностранный:

*Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.*

Или как переиначил Пушкина на свой, под иенских романтиков, мистический лад Жуковский:

*Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу.*

Пусть покажусь кой-кому кощунником, а то и охальником (мне что, впервой? хотя скорее озорник, забавник, затейник, проказник, чем безобразник), но в этом интертексте, в этом диалоге поэта с поэтом турку предпочту арапу, потому как всегда иду по пути наибольшего сопротивления (женщин включая, хотя как раз здесь сопротивление встречаю крайне редко, если встречаю вообще), а выучиться чужому языку взамен допотопному куда как труднее, чем уловить его смысл. Переключка здесь через голову ближайшего поколения, как новаторы аукались с архаистами, привет Тынянову. В моем случае, мне сподручнее, интереснее и полезнее якшаться с теми, кто годится мне во внуки, еще лучше во внучки, чем с теми, кто мог бы быть моими детьми. И учусь я новоречи не для того, чтобы понять ее, но для того, чтобы быть понятым младым, пусть и стареющим уже незнакомым племенем, потому что мое племя сошло в могилу или одной ногой там, как автор этих строк. Одно слово: септогенарии.

Мой новый стиль – сочетание классики со сленгом – более-менее признан в русскоязычном мире по обе стороны океана, за исключением одной нью-йоркской редакции – «Извините, Володя, но в стремлении поспеть за блогерами вы терпите неудачу. Это все равно как профессору, попавшему на вечеринку студентов, подражать их устной речи», – проехали, фиолетово, тем более именно в той редакции решили, что «Соловьев забил на всё», с чем я согласился и признал за высшую хвалу. Зато мой далекий друг с Тихоокеанского побережья Зоя Межирова, с ее приверженностью к классическому – канону? уставу? – признала мою новоречь, но она та еще тонкачка с каким-то звериным чутьем на лад и склад русской речи. «В книге, – писала Зоя о моей предпедыдущей, как раз про Евтушенко и евтушенок, – сразу бросилось в глаза, а точнее, прильнуло к слуху естественное сочетание и сосуществование жаргона и интеллигентной живой классичности, сочетание достаточно трудное для этих двух разных стихий».

Здесь враз и навскидку две цитаты без никаких пояснений, потому что *sapienti sat*, а дураки мне без надобности – брысь с дороги!

*Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей – разговора б!
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.*

* * *

На что не обращают почему-то внимания – что означенный в приведенном стихе друг в поколении не был читателем Евгения Абрамовича. С поправкой на самого себя: мое потомство не в далеком будущем, а в самом что ни на есть настоящем – означенное поколение, с которым я ищу и нахожу общий язык, минуя не только сошедших со сцены в могилу евтушенок – кроме разве что самого Евтушенко, дай бог ему здоровья! – но и моих однопоколенников, сороковников, которых тоже осталось наперечет, а два центровика – Бродский & Довлатов – ушли уже с четверть века назад.

Какое совпадение, однако! Я пишу эту книгу про нас, а у Миши Шемякина в это самое время премьера в Москве – спектакль «Нью-Йорк. 80-е. Мы».

Знаю, о ком он, и догадываюсь, о чем.

Одним словом:

МЫ.

Ни на йоту!

Честно, только со смертью Довлатова и Бродского я обрел твердую почву под ногами. Я один остался в строю, на литературном посту, – говорю это, не прикалываясь. Не то чтобы они, в гроб сходя, благословили именно меня, поручив лично мне держать последний редут, но никого окрест, и кромешное одиночество я воспринимаю как завет и указ мертвых – живому: мне. А коли я теперь здесь один, то обязан работать в том числе за мертвых. В меру отпущенных мне сил. Ну да, некрофильский импульс, смерть как вдохновение, Танатос верхов на Пегасе. Потому и говорят «надежда умирает последней»: пока есть смерть, есть и надежда. Вот почему надежда хороша не только на завтрак, но и на ужин – вот в чем у меня расхождение с Бэконом, не упомяну каким – Роджером или Фрэнсисом. Таков мой писательский стимул, если его из подсознательных глубин вывести наружу.

И не осталось никого, кроме меня.

А для меня осталось всё, как было.

Вот здесь как раз ссылка позарез, потому как переводный стих: Рэндалл Джарелл.

Как следствие этой двойной личной потери – Бродского и Довлатова – я самым решительным образом перешел на прозу. Смена жанровых вех, если хотите. Хотя были прецеденты: «Торопливая проза» сігса 1968-го, года советского вторжения в Чехословакию, а спустя еще семь лет, перед тем, как свалить из России, «Три еврея», моя несомненная и одинокая удача, *opus magnum*, как окрестил мой критик. Однако эта горячая исповедь родилась на таком скрещении обстоятельств, что следует счесть случайностью. Как превращение обезьяны в человека. Продолжения, увы, не последовало, хоть я и сочинил на/по инерции роман-эпизод «Не плачь обо мне...», Бродский был прав, признав «Трех евреев» и ругнув «Не плачь обо мне...», хоть автору было обидно. Дальше пошла скоропортящаяся кремленология, чтобы держаться на плаву, пусть мы с Леной Клепиковой и вкладывали в нее живую душу и до сих еще не проели и не пропутешествовали те сказочные по нашим совковым понятиям гонорары, которые получили за наши кремлевские триллеры. Рецидивы того политоложества – сотни статей там и здесь и московские книги про троянского коня исламизма и борьбу за Белый дом каждый американский високосный год с Трампом на обложке.

A tout propos, пусть мои читатели не сетуют на сплошную цитатность моей речи: я не просто книгочей, а книгоед, вот и выедаю отовсюду стихи и фразы и скармливаю их моему читателю, да и были прецеденты – мой домашний учитель Монтень, например, чьи «Опыты» иные воспринимают как сборник латинских цитат. И все-таки нет: не коллаж, не пастиш, не центон и не пародия. У меня уже был опыт такого насквозь зацитированного текста: изначальное название «Трех евреев», ушедшее в последующих тиснениях в подзаголовок, – «Роман с эпиграфами». Антишестидесятнический пафос той книги звучал под сурдинку более волнительных, горячих и актуальных тем и сюжетов, но угадывается и считывается без особого напряжения.

Кое-кто из нас, сороковников, имел персонального супостата среди евтушенок, а то и пару-тройку, а Бродский держал их в негативе тотально: от Евтушенко до Кушнера. Называю самых им ненавидимых, на что были личные причины, не без того: с Евтухом о судьбе Бродского советовался сам Андропов, как Сталин с Пастернаком о судьбе Мандельштама, и оба пиита оказались не на высоте, а ливрейный еврей Кушнер был *bête noire* городскому сумасшедшему Бродскому в Питере, потому что не только сытый голодного не разумеет, но и голодный сытого – в разы больше. Как раз Аксенов, чей роман Бродский пытался забанить в Америке, но скорее из конъюнктурно-конкурентных соображений, был *bête noire* Довлатова

– опять-таки с питерских времен по причине скорее мужской, чем писательской ревности: Ася Пекуровская, первая Сережина жена, романилась с Васей, хотя и не с ним одним, но потом приписала Довлатову отцовство своей дщери, что Довлатов всячески отрицал, ссылаясь на отсутствие у них в то время необходимых для зачатия отношений. Как в том анекдоте: «Вася, я от тебя беременна». – «Но мы же даже не спали с тобой» – «Сама удивляюсь». Касаемо не анекдотического, а реального Васи, в те далекие ленинградские годы Аксенов звездил по всей стране, а широко известный в узких кругах Довлатов был в литературной мишпухе никто, и естественный – хоть и неестественный – Асин отбор шел именно по этим вторичным, то есть литературным, признакам. Довлатов пытался взять хоть какой реванш у своего соперника уже здесь, в Америке, окариатурировал Аксенова в «Филиале», а заодно и свел счеты со своей бывшей женой, которую вывел под прозрачным псевдонимом Тася, но настоящий реванш взял *post mortem*, опередив в славе не только Аксенова, но всех остальных прославленных шестидесятников-евтушенков.

Само собой, у всех нас были исключения в этой литературной породе. Ну, как у каждого антисемита значится в друзьях еврей (см. на эту тему мой сказ «Еврей-алиби» в наших с Леной Клепиковой последних книгах о Довлатове). Бродский высоко ставил помянутого Слуцкого, его учителя в поэтике и покровителя по жизни. Понимаю возмущение Бориса Абрамыча, когда, заскочив к нам на Красноармейскую убалтывать Лену Клепикову вступить в Союз писателей, а то «одни евреи», он раскрыл лежавший у меня на письменном столе нью-йоркский сборник «Остановка в пустыне» и с ходу наткнулся на нелестный о себе отзыв в пасквильном предисловии Толи Наймана. Я растерялся и сказал наобум, что Бродский мог ничего не знать о клятвом предисловии. «Должен был знать», – по-комиссарски отчеканил Слуцкий уже в дверях, перенеся гнев на горе-вестника.

Когда я рассказал эту историю Бродскому в кампусе Колумбийского университета, где он учительствовал, а мы с Леной били баклуши в статусе *visiting scholars*, он явно огорчился, обозвал Наймана подонком и сообщил, что тот был последним любовником Ахматовой. Я усомнился.

– А как еще объяснить ее любовь к нему? Не за стихи же!

Неоспоримый довод, *ultima ratio*.

Бродский был невысокого мнения о его стихах, полагал слабаком и даже исключал из «ахматовских сирот».

– Трио, тройка, троица: мы с Рейном и Бобышев, будь проклят!

На прощание – он опоздал из-за меня на лекцию – я продиктовал Бродскому номер моего нового телефона, но на последних цифрах он перебил меня:

– И записывать не надо! Два главных года советской истории: ... – 3717.

Так вот, я включил в число евтушенков не только равнолеток или погодков окрест 37-го года рождения, но и тех, чей год рождения был ближе к самому первому году советской истории: Слуцкий, Эфрос, Окуджава, Тарковский-старший вдобавок к младшему, пусть и в контроверзах с отцом, потому что осуществились либо проявились все они именно в 60-е. Не однопоколенники – скорее однокорытники: из хрущевского корыта, вестимо. Тем более, у каждого из нас в той шарашке-формации были свои фавориты. У меня – Анатолий Васильевич (хотя на самом деле, как я, Исаакович) Эфрос, к спектаклям которого я присосался, как жук к пробке, и помянутый добрым словом Борис Абрамович Слуцкий, которого в современной мне поэзии я ставлю вровень с его учеником Бродским. Напряженно и чутко вглядывался Слуцкий в людей моложе его, пытаюсь угадать по их лицам будущее, ибо прошлого и настоящего ему было уже недостаточно. Этим отчасти я объясняю и нашу с ним восьмилетнюю дружбу: он рвал со многими сверстниками, типа Дэзика Самойлова, которые составились раньше его, и тянулся к молодым. А я жил в мире, где все меня старше – даже ровесники, да не совсем: даже Бродскому и Довлатову я младший современник, пусть и самая

малость. Зато теперь я старше дорогих моих покойников, только что с того? Нет, не вечный юноша – скорее вечный мальчик в стареющем теле. Так меня рецензент моей книги «Как я умер» и назвал: стареющий мальчик.

Помимо стихотворения обо всех нас, сороковниках и сороковницах, Слуцкий сочинил и улетный стих лично обо мне:

*У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.*

*У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным,
или мороженым, или тертым.*

*У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого многого.
У кого немного.
У самых счастливых ни на йоту.*

Ни на йоту! Тем и живу. Счастливых в мире Несчастливых. Зачем быть жизнеедом, когда сама жизнь ест нас поедом – и доедает? У кого мрак души, а у меня веселие сердца, как и было завещано мне моими предками: веселое сердце благотворно, как врачевание, а унылый дух сушит кости, все дни несчастного – печальны, а у кого сердце весело – у того всегда пир. Пир горой – это я от себя. Пир во время чумы, добавляют про меня, имея в виду нынешний мой и наш с Леной книгопад в Москве.

Грех мне жаловаться, но помимо внешних причин зачем кошмарить реал, когда он и так кошмарен, стоит только задуматься? Зачем окошмаривать кошмар? Зачем помогать смерти? Даже если на кладбище вместо крестов я вижу плюсы. Ужас, но не ужас, ужас, ужас! Или как в другом анекдоте про человека в одной галоше: «Почему потерял? Нашел!» Да хоть по принципу Абрама: «Абрам, ты счастлив?» – «А шо делать?!» Но и по принципу Владимира Соловьева, а он, то есть я, самый-самый счастливый человек на этом свете. Не знаю, как на том. Поживем – увидим. Или не увидим. В любом случае, никаких коммуникаций между тем светом и этим, увы. В чем убежден: со смертью жизнь не кончается. Даром, что ли, я назвал книгу о Бродском «Post mortem»?

Я прожил долгую литературную – точнее, метафизическую – жизнь, которая по естественным причинам клонится к концу вместе с жизнью физической, живу в диком замоте, цейтноте времени, чтобы перечислять адресованные мне упреки, а тем более ответственность, да на каждый чих и не наздравствуешься. Но коли я – с помощью издателя, читателя и с божьей помощью – заканчиваю этой книгой авторский сериал «Фрагменты великой судьбы», то, может, учтем замечания критиков к предыдущим? Отзывы в основном благожелательные и даже восторженные, а один поклепный не в счет, хотя, как изрек Ницше, всё, что нас не убивает, делает сильнее, а «меня только равный убьет», но равных окрест не вижу. Однако и в положительных встречались замечания, которые автор может учесть, а может не учитывать – святое авторское право. Я иду иным путем и, наперекор поговорке, считаю, что третье дано.

Упрек в инфантильности отвергаю с порога. Если молод душой, то благодаря своему сердечному веселию. Удержу нет никакого, снова сошлюсь на Зою Межирову, с которой мы

на одной виртуальной волне, ну да – феномен пси, выражаясь по старинке, и она знает про меня больше, чем знаю о себе сам:

«Энергия слова, плотность всей ткани прозы так велики, что можно с уверенностью сказать – писал книгу молодой человек. Это как голос, – по его интонации узнаёшь о состоянии, настроении говорящего, – голос, его звук, скорей даже тон его, нельзя подделать. Так же и с энергией, которую я ощутила. Поэтому в частых отсылках читателя к мысли о бренности собственного бытия, у автора есть – на сегодняшний день! – (через элегантные лекала различной направленности пластики) как бы некоторая доля лукавства – вот так он, как мне показалось, чуть смущенно оправдывает энергетику молодой своей литературной силы. А она на протяжении всего повествования не иссякает. Кажется, энергии слова не будет конца. Впрочем, это так и есть. И возрадуются кости, Тобою сокрушенные (50-й Псалом Давида)».

Вот только интимная коррективка: аз есмь живое опровержение Фрейдовой теории сублимации. Раньше я задавал себе вопрос: что есть сублимация чего? Творчество – сублимация сексуальной энергии либо секс – сублимация творческой? То же – с мимесисом, который был у меня под вопросом: искусство подражает жизни или жизнь искусству? Теперь я думаю иначе: взаимозависимость. Одно другому не мешает. Хотя, конечно, бывают и классические случаи отклонения сексуальной энергии, которая не находит прямого выражения (онанизм не в счет). Тот же Фрейд, который сделал свои великие, но не безусловные открытия до женитьбы, в период вынужденного викторианского девства. Да я и сам сублимировал, то есть в переносном смысле мастурбировал, когда писал в Москве «Трех евреев» – а что делала тогда Лена Клепикова в Ленинграде? ревную ее, бедняжку, к любому без меня периоду жизни, включая до меня – либо когда она была у нашего сына в Ситке на Аляске, я сочинил четырехголосую «Хроническую любовь», лучшую главу моего «Post mortem». А если не сексуальный простой, но крутое одиночество – кормовая база творчества? Однако оглядываясь назад и заглядывая в будущее – господи, какие неравные промежутки времени! – сохраняю энергию за письменным столом и в постели с женщиной – по преимуществу с Леной Клепиковой. «Совсем как в юности», – сказала ты недавно, и я не спросил подье*исто: «С кем?» А это уже другой вопрос, чутко поправляя Будду применительно к моему случаю: «Кто не понял своего прошлого, вынужден переживать его снова и снова». Что я и делаю в этом моем пятикнижии, а особенно в его последней книге о себе, о своем поколении и о нашем путешествии из Петербурга в Нью-Йорк.

Только тем теперь и живу, что верен своим внешним водам, пусть они давно уже отошли. Да, из породы мечтателей, чьи несбыточные детские мечты не сдуваются, а сбываются. См. и ср. с «Мечтателями» Гилберта Адэра про разнополых сиамских близнецов, на худой конец – для синефилов – с упрощенным и усеченным порнофильмом Бертолуччи по этому роману. «И пока не поставят на место, будем детство свое продолжать» – привет, поэтка 37-го года рождения, которая обещания своего не сдержала и сама поставила себя на место, огосударившись! А меня поставить на место – клянусь! – может только смерть, думать о которой бессмысленно, ибо смерть не является событием жизни – когда мы есть, ее еще нет, а когда она есть, нас уже нет (привет Витгенштейну и Эпикуру за этот сдвоенный мною, а значит, мой афоризм). Иное дело: где прервется моя колея? Для меня деревья как были большими, так и остались: навсегда, до последнего вдоха. Или выдоха?

Не впервые в этом признаюсь – я вынужден на повтор, потому как кое-что из заветных дум этой книги высказал впрок в предыдущих, авансируя и анонсируя эту. Да и откуда мне заранее знать, что у меня в мыслях, пока не увижу их на экране монитора? О если б без слов сказаться было можно! Почему-то каждый раз пропускаю «душой» – звучит высокопарно и сужает смысл. По-любому нельзя-с, Афанасий Афанасьевич.

Modus operandi & modus vivendi

Что еще нас, сороковников, друг с дружкой сближало, независимо от степени близости – физической либо метафизической: все мы питерцы, без разницы, где родились. Не совсем топографическое, а скорее культурное землячество. Включая тех, кто культурную зависимость от самого умышленного города на земле отрицал. Как я, например, покидая город – сначала в Москву, а потом в Нью-Йорк: умысел яко замысел – «Три еврея». Да тот же Барышников, который всячески от Ленинграда открещивается, противопоставляя ему родную Ригу, а Латвию – Рашке, как он – не я! – зовет нашу географическую родину.

Из велеречивого, многословного «барышниковского» стиха Бродского приведу его последние строфы, имеющие отношение не только к его герою – он же один из героев этой книги, – но и ко всем нам, к нашему тайному содружеству, к нашей, если хотите, масонской ложе:

*Как славно ввечеру, вдали Всяя Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вокруг собственной оси
рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться, —
земля везде тверда; рекомендую США.*

Не один Барышников, а мы все приземлились в США, конкретно в Нью-Йорке – в конце концов, пусть Шемякин начал с Франции и снова теперь там в Chateau de Chamouseau, да и Бродский с Барышниковым не осели в нем, а колесили по белу свету, но неизменно возвращались обратно. Как и мы с Леной Клепиковой: Нью-Йорк – отправная точка наших с ней хождений за три моря, включая Россию. См. упомянутый уже мой субъективный травелог «Как я умер», изданный в том же московском издательстве, что и этот пятитомный сериал.

Можно и так сказать: все мы сформировались как художники еще в Питере, но осуществились уже здесь. Точнее, наверное, будет сказать доосуществились, да? Что важнее – питерская закваска или нью-йоркская прописка? Не стану забежать вперед, выкладывать на стол все карты, ставить телегу впереди лошади, хоть мне и не впервые. «И даль свободного романа/Я сквозь магический кристалл/ Еще не ясно различал». В отличие от родоначальника, я различаю даль свободного романа о моем поколении ясно, вплоть до мельчайших деталей.

Пусть говорят, что все метафизические романы этой моей авторской франшизы-линейки – и каждый больше предыдущего – это романы-проху, и я, будучи только известным, пользуюсь своими знаменитыми персонажами, как псевдонимами, чтобы поведать нечто тайное, стыдное, сокровенное о самом себе. Что с того! Старый, как мир, вопрос – объект или субъект? – относится не только к Богу. Мои и наши с Леной Клепиковой книги про Довлатова, Бродского, не только про Евтушенко и про Высоцкого и иже с ними, потому и прорыв в биографическом жанре, что их фигуранты даны нашими глазами, пусть на объект исследования и ложится тень инструмента, с помощью которого он рассматривается. Однако тень-то – продолжая/опровергая Набокова – прозрачная, и персонажи, чьи имена стоят на обложках книг Владимира Соловьева и Елены Клепиковой, вполне различимы: снутри, а не извне! Извне – на фотках, рисунках и коллажах, хоть они и располагаются в тетрадках внутри наших книг.

Уж коли пошел вразнос и разоткровенничался, то признаюсь, как на духу: лот художества потому и берет глубже фактографа, что автор лицедействует путем перевоплощения, но одновременно и отстранения, то есть глядя на своего героя – а значит, и на себя – со стороны. Я уже жалился где-то, что отдал Бродскому кое-что из своих сокровений, когда сочинял запретно-заветный роман «Post mortem», углубив и углубив моего героя супротив реального – позднего, на склоне таланта, и сделав еще более реальным, чем в действительности: пусть скажет спс автору из своей плавучей могилы в Сан-Микеле. С другой стороны, мой роман немыслим без его поэзии: Бродский послужил мне если не Музой, то – с гендерной поправкой – Пегасом, которого я прищипорил изо всех моих писательских сил. Как высказалась недавно американская романистка Глория Стайнем, if you poured water on a great poem, you would get a novel. Что и было сделано: я выжал его ПСС, как лимон, в мой запредельный роман, а не просто скрымздил его образы для его же образа. В том смысле, что у нас с Бродским по нулям: никто никому ничего не должен. Вот объяснение, почему в отсеке, ему в этой книге посвященном, я даю в параллель воспоминаниям Лены Клепиковой не свои аналитические мемуары о Бродском, многократно опубликованные, а юбилейный адрес, опубликованный мною к его 50-летию.

Та же, хоть и не совсем, история с моим довлатовским циклом: повесть «Призрак, кусающий себе локти» и сопутствующие рассказы «Вдовьи слезы, вдовьи чары», «Заместитель Довлатова», «Перекрестный секс», «Мерзавец», «Уничтоженные письма». В этой книге я решил было – и решился! – дать весь этот цикл под общим названием «Вариации на тему Довлатова» в одном разделе с основополагающим для его понимания мемуарным эссе Елены Клепиковой «Трижды начинающий писатель» – типа громоотвода для моих прозаических изысканий о Довлатове. А мои аналитически-мемуарные очерки о нем читатель легко найдет в наших с Леной выдержавших несколько переизданий довлатовских книгах, да? Увы, размер таки имеет значение, по крайней мере в издательском деле, и книга не может быть безразмерной, а потому мне пришлось отказаться от этой идеи и ограничиться только тремя опусами из «довлатовского» цикла, последними по времени написания. Кстати, евушенки Фазиль Искандер и Володя Войнович тоже прошли у меня по разряду прозы в эскизе романа «Сердца четырех». Хотя до такого перевоплощения, как в Бродского, больше ни с кем я не доходил. Сколько в перечисленных прозах от реала и сколько от вымысла, теперь уже судить не мне, а будущим исследователям и текстологам, если таковые найдутся. Какое дело будущему до прошлого, когда у него своих дел будет немерено!

Этот прием беллетристических «посвящений» протянут мною сквозь всю эту мемуарно-аналитическую линейку, включая этот метафизический роман о нашем поколении, а название для его подзаголовка стырено из знаменитой пьесы Пиранделло: «Шесть персонажей в поисках автора». Ну да: постпиранделлизм. У читателя могут возникнуть сомнения: пусть один из этой шестерки сороковник Владимир Соловьев, а другая – сороковница Елена Клепикова, но правомочно ли включать их в поисковую бригаду, когда они и являются искомыми авторами? Я бы мог отослать этого доку-читателя к моему давнему рассказу «Мой двойник Владимир Соловьев», а то и к книге под тем же названием, а здесь ограничусь пояснением, что автор Владимир Соловьев и авторский персонаж Владимир Соловьев существуют сами по себе, и литературному герою Владимиру Соловьеву автор позарез, как и остальным фигурантам этой книги. То же, полагаю, с Еленой Клепиковой, хотя и не решусь говорить за нее – сама все о себе и за себя скажет. Ну, не все, конечно, а то, что сочтет нужным. Ее право.

Работая над предыдущими выпусками этого пятикнижия, я сам с собою – а с кем еще? – обсуждал вопрос, какую дать объявку этой тогда еще будущей, гипотетической книге – как назвать ее? По самому известному из нас? По кому именно из? Хоть в ней неизбежно и крупно будут присутствовать оба-два, но была уже книга «Быть Сергеем Довлатовым.

Трагедия веселого человека» и была книга «Быть Иосифом Бродским», которую в последний момент переименовали просто в «Иосифа Бродского. Апофеоз одиночества». А другие сороковники – от Барышникова до Шемякина? Назвать «Барышников» – обидится мой друг Шемяка, а назвать «Шемякин» – претензии будут у Барыша. Надо нечто нейтральное, чтобы всех устраивало. Чтобы никому не было обидно – ни живым, ни покойникам? А не назвать ли мне ввиду вышеизложенных причин субъективного порядка следующий метафизический роман в моем сериале с присущей мне скромностью – простенько и со вкусом «Быть Владимиром Соловьевым. Мое поколение: от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина»? По тому же принципу, как я переименовал шестидесятников в «евтушенок». Почему нет? Еще вопрос, что предпочтительней: мания величия или комплекс неполноценности? У меня нет ни того, ни другого.

Нет, не автопортрет в траурной рамке – хотя кто знает? – а портрет моего поколения. Само собой, имя **владимирсоловьев** будет нарицательным, эмблематичным, именной маской, товарным знаком, подписью художника под портретами современников и ровесников. И не только. Пусть «владимирсоловьев» будет псевдонимом всех их скопом – знаменатель, а имя собственное – числитель: владимирсоловьев – это Михаил Барышников, это Иосиф Бродский, это Сергей Довлатов, это Елена Клепикова, это Михаил Шемякин и это я сам – Владимир Соловьев: владимирсоловьев Владимир Соловьев.

В своем поколении я был изнутри литературного процесса, хоть и оставался все-таки сторонним наблюдателем на трагическом празднике литературной жизни – может быть, в силу моей тогдашней профессии литературного критика, хотя не только – соглядатаем, кибитцером, вуайеристом чужих страстей, счастливых и несчастных. Я жил не в параллельном, но в соприкосновенном, сопричастном мире, однако если и причастный происходящему, то отчужденно, отстраненно, скорее все-таки по брехтовской методе, чем по системе Станиславского. Перевоплощаясь в своих героев, но не сливаясь с ними, оставаясь одновременно самим собой и глядя на них со стороны. С правом стороннего и критического взгляда на них. И на самого себя. Это, впрочем, давняя моя склонность как писателя, отмеченная критикой еще в оценках «Трех евреев». «О достоинствах романа Соловьева можно долго говорить, – писал московский писатель Павел Басинский. – Замечательное чувство ритма, способность вовремя отскочить от персонажа и рассмотреть его в нескольких ракурсах, беспощадность к себе как к персонажу».

Потом, однако, когда в этой книге стала соавторствовать Елена Клепикова не просто на равных, а доминирующе, став ее безусловной бенефицианткой, книга переименовалась в «Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк», а «Быть Владимиром Соловьевым» ушло в название одного из ее отсеков. Первый отклик получил из Атланты, штат Джорджия, от моего друга, одноклассника и одноклассника сороковника Номы Целесина:

«Прочитал сегодня несколько страниц. Пока понял только (читается как), Как Трудно **Быть Владимиром (Исааковичем) Соловьёвым**».

А кто-то из моих друзей американцев неопределенно, мерцающе эдак выразился: fiction or nonfiction – or, more accurately, something in between. Вот-вот, нечто промежуточное, литературное междуречье, жанровая промежуточность, рискну сказать я при моем уклоне к рискованному либо пикантным метафорам. Само собой, при слове «промежуточность» у меня возникает образ женской со всеми находящимися там кисло-сладкими прелестями. То есть – минувшая весь ряд наводящих аналогий – жанровая эта промежуточность вход в самое запретное и заветное, что только есть в литературе. Ну да, как и у женщины. Современные девочки и девушки, отменные минетчицы, каких не было во времена моей юности (профессионалки не в счет), вводят в краску и смущение пожилую сексологиню своим признанием, что «they consider a penis in my mouth as impersonal», а я согласен с ними на все сто, потому что как раз very personal было бы впустить этот самый пенис в свою *sancta sanctorum*, святая святых (калька с

ивритского *Кодеш ха-Кодашим*). Вот какого старомодномодерного взгляда придерживается автор по этому интимному даже в наш промискуитетный век вопросу. Хорошо, что, будучи писателем до мозга костей и воспринимая литературу как самовыражение, а не самоутверждение, а то и самоупоение, я все, что со мной стряслось на моем веку, и даже то, что не случилось, но могло случиться, записал и описал в моей документальной, пусть и не один в один прозе, а потому нет нужды напрягать память, а достаточно заглянуть в мой рассказ «Памяти Лили», хотя на самом деле ту тюзовскую актриску звали иначе – какие упоительные она делала минеты своим друзьям, строго и, как оказалось, не зря блюдя при этом свое девство, и доблюла его до замужества за капитана дальнего плавания с кортиком, а у нас тогда в военно-морском флоте был культ девичьего целомудрия. В том ленинградском ТЮЗе я работал завлитом, был допущен до закулисных тайн, но, зная на личном опыте о женском минете, не подозревал о мужском, а потому до сих пор глубоко сожалею, что не прибег к нему в допенисуальный период физической близости с единственной женщиной, которую я когда-либо любил и люблю до сих пор. «Я бы не позволила», – говорит она мне теперь. Спустя годы я, наконец, открыл этот чудный способ интимной близости, и моя любимая называет его *божественным* – в отличие от *человеческого* пенисуального секса. А я склонен считать божественным вот этот самый промежуточный жанр, в котором работаю.

По Капоте, non-fictional novel (невывмышленный роман), докупроза или еще кратче – *faction*, то есть неразрывная жанровая спайка *fact & fiction*. Однако в чисто мемуарном письме, поелику возможно, я пишу с натуры, без никакой отсебятины. А отсюда уже гибридный жанр моего пятикнижия, эту книгу включая: аналитические воспоминания и бесстыжая проза.

Хотя, конечно, и мемуары, все равно чьи, суть антимемуары, пусть не каждому мемуаристу достанет смелости в этом признаться, как Андре Мальро, с обложки которого я стырил само это слово: *Antimémoires*. Что тогда сказать о прозе с узнаваемыми прототипами? Ну, само собой, не один к одному. Однако не станем путать *modus operandi & modus vivendi*, сплошную линию жизни с прерывистым пунктиром судьбы, где автору не просто дозволено, но вменено в обязанность заполнить лакуны собственными догадками, подозрениями и прозрениями. То же самое он (то есть я) делает, когда жизнеописует своего авторского персонажа, своего *alter ego*, но под полупрозрачной вуалью псевдонимов, иносказаний и намеков. Тот же взять его (мой) «парутинский» цикл, который разбросан по моим книгам, а надо бы собрать воедино, несмотря на неизбежные повторы. Ну да, вариации – пусть так, фантазии – на тему ревности с единством места, времени и действия: село Парутино вблизи Очакова («...и покоренья Крыма») в Николаевской области тогда еще в составе «союза нерушимого», где Лена Клепикова студенткой проходила археологическую практику на месте древнегреческой колонии Ольвии. Перечислю по памяти, а читатель сложит, если пожелает, по принципу пазла и разгадает загадку, которая так и осталась неразгаданной автором, потому как не загадка, а тайна – тайна за семью печатями: «Одноклассница», «Преждевременная эякуляция», «Добро пожаловать в ад/рай», «Как я умер», «По московскому времени», «Тайна Лены Клепиковой». Впрочем, на творческие усилия читателя слабая надежда. Если решу – и решусь! – помещу это в следующей книге «Про это. Секс, только секс и не только секс», где будет не *текст*, а *секст*, что более точно определяет ее жанровый драйв, чем нынешнее словечко «секстинг»: сплав больших и малых сексизмов о жизни и смерти. Автору хотелось проскользнуть между чернухой и глянцем, между порно и гинекологией в художку – *belles-lettres*, изящную словесность, чему не помеха, а в помощь современное арго, уличная брань, ругачий словарь, сквернословие, обценная, ненормативная, заборная лексика. Не ради развлекалова как такового, хотя какая литература без развлекалова, пусть на грани фола, какой бы глубины не доставал ее лот? Мы движемся к цели, а та удаляется, видеоизме-

няется, ускользает, становится неузнаваемой и невидимой. Это и есть настоящее художество в понимании автора.

С какими-то коррективами вышесказанное относится и к этой книге, которая хоть и состоит из текстов, но сама по себе текстом не является. Не только потому, что в ней три дюжины тщательно отобранных и прокомментированных в титрах иллюстраций. Она не только написана, но и сделана, недаром Леля Межирова назвала меня «замечательным литературным режиссером». Книга – это спектакль, представление, зрелище, перформанс, приключение, наконец. Сама по себе книга – приключение, а не только ее написание, как ошибочно полагал писатель Уинстон Черчилль. Впрочем, далее наблюдения более точные, если сделать поправку на общую болезнь британских афоризмистов – парадоксализм: «Сначала книга – это не более чем забава, затем она становится любовницей, женой, хозяином и, наконец, тираном». Даже если так, нет тирании упоительней и слаще, пусть иной читатель и зачислит меня в мазохисты. И само собой, каждую книгу я пишу как последнюю, иначе нет смысла браться, и какая-то, возможно эта, завершающая мемуарно-аналитическую линейку, может ею оказаться, и я буду заживо замурован в этом пятикнижии. Рукотворный памятник самому себе.

Козлиная песня

Касаемо же шутильной рекомендации Бродского, где приземлиться, то тут потребуются не столько разъяснение, сколько продолжение – пусть это будет сноски в самом тексте. Птица перелетная, калика переходный, очарованный странник, не путешественник и не турист, а паломник – вот кто я, и Нью-Йорк – последний пункт моего кочевья. Вопрос о возвращении в Россию ни для кого из нас – не только для публичного антиносталягиста Барышникова – всерьез не стоял. Мы отвалили с концами, даром что ПМЖ. Довлатов отшучивался: «Еще чего! Столько там знакомых – сопьюсь», а спился здесь, где знакомых скопилось ничуть не меньше, да еще в период гласности стали наезжать оттуда. Сережу и спаивать не надо было. «Кто начал пить, тот будет пить», – выдал он мне афоризм в ответ на мои увещания. А когда я наладился в Москву и Питер на набоковскую конференцию, всячески меня отговаривал: «А если побьют?», имея в виду под родиной нашу малую родину – наш трижды переименованный город.

Меня было за что – битие определяет сознание? – за мои антипитерские диатрибы в «Трех евреях», о которых Довлатов сказал за несколько дней до смерти – это была последняя прочитанная им книга: «К сожалению, все правда». Я замыкал и замкнул петербургскую литературную традицию антитрадицией – Гоголь, Достоевский, Андрей Белый, наконец, гробовых дел мастер Константин Вагинов с его «Козлиной песней», а я был не только антипсалмопевец, но и плакальщик этого проклятого и проклятого города, который доказал свою сущность и подтвердил мой прогноз политически, став кузницей кремлевских кадров. А еще хихикали: Петербург – столица русской провинции. Как бы не так! Дело не в топонимике, а в топографии: СПб переименовался в четвертый раз, перебравшись в официальную столицу и став Москвой. Чудеса в решете, да и только, да? Если пародия трагедии – комедия, а пародия комедии – трагедия, то пародия пародии возвращает нас к оригиналу. Трагедия снова стала козлиной песней, как и была первоначально у греков: τραγωδία = τράγος, козел + ᾠδή, пение.

То есть в моем случае это было бы возвращением на место преступления, коли в глазах моих земляков преступлением была моя покаянная исповедь «Роман с эпиграфами», гениально переименованная моим издателем в «Три еврея». А предполагаемый Довлатовым мордобой – по закону обратной связи фидбэк: наказание за преступление, которое я не совершал, и роман мой был просто камнем, брошенным в стоячее питерское болото, а отсюда уже весь гвалт. Много шума из ничего? Нет, почему: из чего! Это не было преступлением, с моей точки зрения, зато в представлении ленинградской литературной мафии вкупе и в тесной смычке с гэбхой – это хуже, чем преступление: злочинство! Тем не менее я побывал в Питере без никаких эмоций, выступал на публике с набоковской речью, побит не был и благополучно вернулся сначала в Москву, где заразился ельцинской революционной лихорадкой, а оттуда – в безопасный Нью-Йорк. В две следующие поездки на родину, в знакомый до слез город даже не заехал.

Само собой, «место преступления» – не более чем фигура речи: преступником себя не чувствовал: ни mea culpa, ни Jewish guilt. Бродский – тем более. Место преступления он переименовал в место унижения, а себя в униженного и оскорбленного:

*Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.*

И варьировал эту мысль на все лады – в разговорах и интервью: «На место преступления вернуться еще можно, но на место любви...» – это в разговоре с our mutual friend Томасом Венцловым, а вот его интервью с Фрицем Раддалем из «Il Giornale dell'arte»: «В России похоронено мое сердце, но в те места, где ты пережил любовь, не возвращаются». А любовь и была для Бродского унижением, за которое он мстил изменнице до последнего: в своих антилюбовных виршах.

Об том, чтобы вернуться на родину, и речи не было, но токмо о кратковременной побывке. Сошлюсь на мой запретно-заветно-запредельный «Post mortem» (в кратком изложении), где я из фактов смастерил прозу, а потом возвращусь к источникам.

Когда the Russians are coming, ты всех в обязательном порядке спрашивал, стоит ли тебе ехать на географическую родину, а потом знакомил нас с результатами опроса... Сам ехать не собирался ни насовсем – «Не могу эмигрировать еще раз, да и не представить, как бы я там теперь жил после моего американского опыта. Что я там забыл?», ни туристом – «Туристом в страну, где вырос и прожил лучшие, хоть и худшие, годы моей жизни? Еще чего! На место преступления – всегда пожалуйста, но не на место любви...». Общественным мнением по данному вопросу живо, однако, интересовался. Кокетство? Розыгрыш? Провокация? Экзамен?

Проверка на вишивость.

Голоса москвичей разделились. Зато питерцы, которые твою нобелевскую славу рассматривали как коллективный успех и пеклись токмо о справедливом дележе, не просто советовали, но все, как один, требовали приезда, который должен был превратиться в их общий триумф, надеясь во имя твое выхлопотать гранты под журналы и фонды. Из друга ты превратился для них в дойную корову. Особенно для тех, кто никогда твоим другом не был. А то и совсем наоборот – Кушнер особенно хлопотал, превзойдя всех в меркантильстве. У нас здесь говорят: user. То есть меркантил – есть у вас такое слово?

А вот дословно – Кушнер собственной персоной – иждивенческо-паразитической: «Очень долго обсуждали план его приезда в Россию... Я объяснил ему, что одной поездкой тут не обойдешься». Вплоть до упрека: «...в 95-м летом побывал даже в Финляндии – до Петербурга было рукой подать». Вот уж, из иждивенцев-шестидесятников Кушнер – самый непотопляемый!

Зато москвич Андрей Сергеев, самый близкий и самый альтруистский друг ИБ, отверг идею приезда как гибельную: «Я твердо высказал свое выношенное, не с налету мнение, что приезжать ему ни в коем случае нельзя, потому что его живым не выпустят. И друзья, и враги растерзают на куски, как менады. По удовлетворенной реакции было видно, что он хотел услышать именно это, поддержку своего собственного нежелания ехать».

Отсутствие есть присутствие, вывел я свою краткую формулу еще до того, как узнал строчку Эмили Дикинсон: «Отсутствие есть сгусток Присутствия». Моя, до которой я сам додумался, пожалуй, лучше, не такая категоричная, как у Эмили, не в обиду ей буде сказано. Про то же у моего Пруста, но по любовному поводу: «Разве тот, кто любит, не ощущает, что отсутствие любимого человека есть самое достоверное, самое реальное, самое незыблемое, самое надежное его присутствие». Фейсбучная моя подружка София Непомнящая перепостила эту мысль на свой лад: «Пустота есть переизбыток полноты». – «Ну уж, ибо не до такой степени. Из ничего только Бог творит», – пытался я тормознуть. Не тут-то было! «А это и есть Бог. Пустота как максимум потенциальности, квантовой спутанности (запутанности), нагваль Кастанеды и пр.».

Опять двадцать пять этот клятый квант, который мне внятен разве что на уровне апокрифа, где в ответ на Эйнштейнов подкол «Бог не играет в кости» Нильс Бор отвечает: «Эйнштейн, не указывай Богу, что ему делать». У нас здесь в НЙ есть квантовое кафе, в котором мне назначила свидание одна американочка, но говорили мы с ней о чем угодно – только не о квантовой механике, а паче о квантовой психологии, в которой позволю себе усомниться. Не вижу – по крайней мере в ее конспектном изложении – ничего принципиально нового после Фрейда, Юнга, Пруста и прочих первооткрывателей. Включая ту же Эмили в моем вольном, под себя, переводе: фантазии у меня достанет – такое нафантазирую, что приближусь к реалу. Потому как в действительности все было иначе, чем на самом деле. Вот где кроется отгадка тайны, которая мучит меня с юности.

Так вот, я все-таки ошибся, когда в конце 60-х в самиздатном эссе «Отщепенство», которое потом вошло в «Трех евреев» в качестве первой главы о Бродском, напророчил, но, слава богу, не накаркал ему, что при головокружительном отрыве от современной русской поэзии и тотальном Гутенберговом блэкауте на его горизонте маячит отщепенство – не моральное, а культурное, не политическое, а географическое: опасность полного и окончательного разрыва с русской культурой. Дабы самому не пересказывать то давнее эссе, вот как оно суммарно изложено поэтом Зоей Межировой: «...о том, *почему* было трагично, что Бродского практически не издавали в России, пока он там жил, что потеря его для читателя тех лет – это еще не главное, а основное – что он, как поэт, совсем не существовал какое-то время для литературного процесса со своими новациями, о которых не знали, и потому он шел без его поэтики. Проникнуть в эту глубину глубин (в данном случае не тавтология) – может лишь удивительная наблюдательность таланта критика».

Благодарствую, Зоя, мой самый, наверное, утонченный чтец! Однако Владимир Соловьев не был бы Владимиром Соловьевым, если бы не кончил то, почти полувековой давности эссе следующим абзацем: «Это уже трагедия поэта, а не человека. Другое дело, что гений, быть может, не подчиняется общим законам, а создает собственные». Даже если я был не прав в своем тревожном послы, то я его скорректировал в дальнейших текстах «Трех евреев», сігса 1975, когда поэтическая деятельность ИБ была уже на исходе, душа черствела, а карьера только начиналась – последняя, увы, в ущерб первой. Посмертно его стихи разошлись в России на цитаты и вошли в идиоматический запас русского языка, как когда-то «Горе от ума» – пусть и преувеличение, как в любой аналогии. А уж в поэзии – точнее, в поэтике – Бродский вошел в моду, чему доказательством его эпигоны и имитаторы без оглядки на пародийность своих подражательных усилий. Куда дальше, если даже его антипод в поэзии и супостат по жизни Кушнер заговорил неожиданно языком Бродского, будучи по природе своего вторичного версификаторства скорее исполнителем, а не творцом.

Опять-таки отличие судьбы от биографии. Мог бы продемонстрировать это на личном писательском опыте, когда отлученный от языковой *alma mater* вкупе с читателем в метрополии (даже в двух), я пошел в догон, а потом и в обгон только в этом чужом мне столетии, до которого дожить не полагал и не чаял, а в последние два года и вовсе книгопад моих московских книг – с десятков за два года. Только что с того, когда я выпал, как птенец из гнезда, и литературный процесс шел без меня и помимо меня, но ни гения Бродского, ни популизма Довлатова у меня нет, а потому и надежд обрести достойное место под солнцем русской изящной словесности у меня никаких. С меня довольно, что мои книги востребованы не только по эту сторону Атлантики, но и по ту, где с их помощью я присутствую, несмотря на отсутствие.

Я бы мог, конечно, спустить тему отсутствия—присутствия этажом ниже – в бытовую и воспоминательную сферу. Когда начался московско-питерский *influx*, типа нынешнего исламского нашествия в Европу, мы с Довлатовым поражались, что наши гости осведомлены о

нашем житье-бытье куда лучше, чем мы об их. И больше сохранили воспоминаний про нас в России, чем мы сами помним. На презентации «Королевского журнала» в российском консульстве в НЙ Андрей Битов с ходу спросил меня: «Ну, как расстрел коммунаров?» До меня не сразу дошло, что речь про моего кота Вилли, которого я ставил на задние лапы к стенке, и он истошно вопил. «Умер», – сказал я, вспомнив этот кошачий перформанс для гостей.

Бродскому, Довлатову, Барышникову делать было в новой России нечего, а Шемякин зачастил туда по профессиональным нуждам: вернисажи, премьеры, мастер-классы, открытие памятников. Из нашего поколения Шемякин единственный человек ренессансной заправки. Ну да, «лис знает много секретов, а еж один, но самый главный», а уж Исая Берлин слямзил – ладно, позаимствовал – эту строку у Архилоха для своей альтернативы «лиса – еж». Бродский, само собой еж – как Достоевский, Ницше, Фрейд, зато Шемякин – лиса, подобно Леонардо да Винчи, Шекспиру и Пушкину. Именно поэтому нашему Леонардо Шемякину для его художественного присутствия на родине позарез еще и физическое присутствие, а не только метафизическое, хотя Миша метафизик каких еще поискать – до мозга костей! А его обратный переезд из Америки во Францию был, полагаю, по топографической причине – дабы быть ближе к России, чтобы сподручней до нее добираться, а не через океан-море.

Не сравниваю, конечно, но нас с Леной Клепиковой влекла на родину, как только там подули ветры перемен, не одна только ностальгия, но и профессиональное любопытство – как политологи, мы регулярно печатали в ведущих американских СМИ статьи по преимуществу о делах в России и в прилежащих странах Восточной Европы и даже выпустили несколько ходких в разных странах книжек на кремлевские сюжеты. Мы писали о нашей стране заглазно, в пригляд, через океан, а хотели увидеть своими глазами, воочию, впритык. Набоковская конференция, на которую мы получили приглашение, была скорее поводом, чем причиной. Весной 1990 года мы застали свою страну на последнем издыхании – переходный период от горбачевского СССР к ельцинской России. Мы даже не предполагали о своем участии в этом революционном процессе. Вот уж действительно отсутствующее присутствие.

Дело в том, что как раз в это время там по крайней мере пятью разными пиратскими изданиями вышла брошюра с главой о Горбачеве из нашей американской книжки «Behind the High Kremlin Walls» (в Великобритании она издана под названием «Inside the Kremlin»). При отсутствии подобной политической литературы брошюра пользовалась громадным спросом и мгновенно стала бестселлером. Где мы только ее не встречали – на улице Горького (бывшей и будущей Тверской) от Пушкинской площади до Красной, на ярмарках на старом Арбате и в Измайлове, в подземных переходах, у станций метро. Один из продавцов держал рекламный плакат «Американские писатели Владимир Соловьев и Елена Клепикова против Михаила Горбачева» (по его просьбе оставили авторский инскрипт на этом рекламном дацзыбао), а другой выкрикивал наши якобы биографические данные – что Соловьев и Клепикова бывшие члены ЦК, которые работали на британскую разведку и стали невозвращенцами во время зарубежной поездки. Из американских и московских СМИ мы знали, что поначалу продавцов забирали в милицию и штрафовали, а экземпляры нашей брошюры изымали, в Питере задержали фуру по пути из типографии к розничным торговцам и конфисковали весь тираж наших брошюр. Однако, когда мы приехали в Москву, она продавалась открыто и повсюду совершенно свободно и безнаказанно – по трешке, независимо от издания. В кулуарах комсомольского съезда Горбачева спросили о нашем про него опусе – он ответил, что с ним знаком, но от комментов воздержался. Не с этими ли пиратскими брошюрами, а потом с легальными московскими изданиями наших кремлевских триллеров, которые, как мы узнали из российских СМИ, есть «в каждом порядочном московском доме», связана изначальная наша слава на родине, что побудило помянутого блогера Софию Непом-

нящую выдать мне следующую характеристику: «Пожизненная любовь наших родителей и легенда для людей моего поколения»? Спасибо на добром слове, которое и котофею приятно!

В то время как раз вышел указ об уголовной ответственности за оскорбление президента – так Горбачев пытался обезопасить себя от критики. Кто-то шутил, а кто-то всерьез опасался, как бы нам не попасть под действие этого указа, не стать его первыми жертвами. Тем более, у одного из нас был дополнительный грех перед Горбачевым – за пару месяцев до приезда в Москву Владимир Соловьев опубликовал в американской газете статью под лапидарным названием «Gorbachev must go». Наши московские друзья знали об этой статье по пересказам вражьих голосов и почти все единодушно ею возмущались – как и нашим интересом к Ельцину. В эту первую поездку мы с ним и познакомились в личку и узнали, что Борис Николаевич с нами знаком заочно – по доморощенным переводам наших кремлевских книг. «Как будто в Кремле жили», – отозвался Ельцин о Владимире Соловьеве и Елене Клепиковой. Возбужденные революционными переменами на нашей родине, мы и задумали книгу о ней в жанре жизнеописания ее вождя. Под шестистраничную заявку Putnam Publishing House заключил с нами договор, отвалив большой аванс – нам понадобилось еще две профессиональные поездки на родину для сбора материала.

С тех пор, однако, дело с наездами застопорилось – вот уже четверть века мы не были в России и как-то не тянет – ни ностальгии, ни любопытства. Скандальный автор «Фашистского социализма» Дриё ла Рошель, апологетизируя Сталина, полагал ошибкой, что русских априори считают белыми людьми и требуют от них адекватности, тогда как это другая раса, и лучше бы у них была зеленая кожа, чтобы их проще было отличать. Тем временем в стране зеленокожих киммерийцев одна за другой выходят наши с Леной Клепиковой книги – сольные и совместные. Предпоследняя – перед этой – политикана про наши американские високосные годы, когда мы тут выбираем президента, а чтобы больше была востребована, по совету книгопродавцев, они же – продажники, то бишь реализаторы, назвали ее именем самого скандального претендента на белодомовский престол. Так вот, даже в ту книгу я умудрился вставить автобиографический рассказ «По московскому времени», которому место скорее здесь – вот он.

По московскому времени. Казус Владимира Соловьева

When most I wink, then do mine eyes best see...
Шекспир

*Жизнь моя все короче, короче,
Смерть моя все ближе и ближе.
Или стал я поэтому зорче,
Или свет нынче солнечный ярче...*

Леонид Мартынов

Эх, Дональд, Дональд, это из-за тебя я потерял покой и погрузился в бессонницу! Сплю теперь, как ты, 3 часа, правда потом добираю днем, когда меня смаривает. А как у тебя с послеполуденным сном фавна? Хотя нет, ты здесь ни при чем. Дональд Трамп – конец этой истории, да и видел я его только дважды – на митинге его сторонников и на проходах: на новоселье издательства, куда он явился с разодетой в пух и прах узкоглазой обнаженной Меланьей: было на что посмотреть. А Дональда прям распирало от гордости за молодую жену. Меланья была у этого комплексанта в роли павлиньего хвоста – за неимением своего собственного. Тусовка была по-нью-йоркски демократичной, Трампы выглядели на ней слишком гламурно, инородно – ну, как Trump Tower на Пятой авеню – и быстро свалили. А началась эта моя история на пороге столетия, до которого я и дожить не чаял и не собирался, с того злополучного телефонного звонка. Он ворвался в мой сон и благодаря этому среди ночи звонку я этот сон запомнил. Он уже исчезал из моей памяти, когда я снял трубку и сквозь дремоту вслушивался в женский, скорее даже девичий голос:

– Вы Владимир Соловьев?

Что за бред!

– Ну, я. Что случилось? Вы хоть знаете, который час?

А сам судорожно вписывал в клочок бумаги, как в папирус, драгоценные обрывки тающего в моей памяти сна, который казался мне чрезвычайно важным, потому что содержал ответ на мучивший меня всю жизнь вопрос о воображаемой измене любимой женщины, скорее даже предизмене, мы и женаты тогда не были, отвечала ты уклончиво, могла я распорядиться своим телом? – или тело тобой? ловил я тебя на слове, а ты оправдывалась, что это в теоретическом аспекте, так оскорбляют тебя мои собственнические претензии – сейчас-то что! – в смысле за давностью лет? – а дальше и вовсе морок, дальнейшее – молчание, какой из меня допытчик – как и добытчик, а теперь пытай не пытай, но не найдет отзýва тот глагол, что страстное земное перешел. А что, если это ворвалась в мой сон возлюбленная тень, как ты была перед разлукой, чтобы сказать правду, только правду и ничего, кроме правды, каковую я от тебя допытывался, а ты ни в какую, и так и ушла из жизни, унеся в могилу свою тайну, которой, может стать, у тебя и не было? Какая там, к черту, тайна – нет загадочных женщин, а только недогадливые, вроде меня, мужи – и мужья, которые узнают последними, если узнают, а я в упор не видел, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Возможно ли женщине мертвой хвала? Почему нет? Бо я сам теперь вслед за тобой спускаюсь в крошечную тьму, так ничего не прознав, а узнаем ли мы там друг друга, если даже встретимся – вот в чем вопрос.

– А что, у вас там часов нет? – вопрос на вопрос, а голос – или это со сна, с того сна? – неуловимо схож с голосом покойницы. – Без пяти двенадцать. Никак вы еще дрыхните?

Нет, дрыхните, не из твоего словаря. Да и голос другой, это мне спросонья померещилось. Вот когда я окончательно проснулся, глядя на собственные каракули, которые еще вопрос, разберу ли: «У тебя не плохой почерк, – говорила ты. – У тебя нет почерка». Как отличить сон от яви? Как отделить друг от друга? На 90 процентов человек состоит из воды и на 97 процентов из бессознательного и подсознательного. Вот почему отгадчики снов в таком фаворе – от Иосифа до Зигмунда.

– Откуда вы звоните?

– Как откуда? Из редакции.

– Да нет! Из какого города?

– С вами говорят из столицы нашей родины.

Без тени иронии. Скорее вызывающе, чем торжественно.

Хотел было возразить, что у меня теперь другая родина и другая столица, но этимологически она, пожалуй, права: родина у человека одна – там, где он родился. Человек без носа, человек без слуха, человек без тени, человек без почерка, а теперь вот и без родины.

– А куда вы звоните из столицы нашей родины? – путем наводящих вопросов, когда понял, что говорить с ней о часовых поясах – в деревянное ухо.

– В Нью-Йорк. А что, у вас там время другое, чем у нас!

Без никакой вопросительной интонации. Наоборот, с полной уверенностью, что весь мир живет по московскому времени. Живо представил эту московскую девицу, которая и о смерти знает, наверное, понаслышке, но не верит в свою собственную. Странно еще, что мы говорим на одном языке. На одном?

Я довольно успешно осваиваю новый русский, как иностранный, сочленяя его с классическим и выдавая эту словесную амальгаму за мой собственный, личный, индивидуальный стиль, за что получаю хвалу отовсюду, но главным образом от моих читателей слабого – слабого? – пола, из которых ни с кем, кроме разве что прелестной порывистой Нади Харитон, лично не знаком. Да еще с Наташей Годуновой из нью-йоркской «Комсомолки», но она с концами ушла в позднее материнство и воспринимает меня теперь скорее на обложке книги, чем снутри, а тем более снаружи в личку. Либо хвала от моего риполовского редактора Тани Варламовой, с которой нас связывали заочно-любовные отношения, но на очередной моей книге они сломались, и мы с ней разбежались, хотя вспоминаю о ее любовных эпистолах с ностальгическим чувством. Увы, ничто не вечно под луной – вот и отношения с Наташей Шапиро из ньюйоркского еженедельника «Русский базар» сходят на нет, а ведь она с дюжину лет печатала по два-три моих опуса в каждом номере во всех мыслимых и немыслимых жанрах и только один отвергла: «Нет, Володя, не отобьюсь...» Зато с другим редактором синеглазкой Мариной Райкиной уже больше года дружу через океан, хотя начались наши отношения с деловой переписки по поводу публикаций моих опусов в МК, где она редактор отдела культуры, но потом прикипел душой и глазом да еще учусь у нее русский новоречи с московским говорком и личным стилем и надеюсь, что эта приязнь взаимна, коли Марина мне недавно отвесила такой вот дюжий комплимент, востребовав иллюстрации к ее со мной интервью про моих покойных друзей – от Бродского и Довлатова до Эфроса и Окуджавы: «Жду фоток – героя и его подопечных гениев (сам такой же)». Даже если юмор, а все равно доброе слово и коту приятно.

Из Калифорнии от Асмик Давыдовой я получаю не только нежные письма, но и посылки с домашней вкуснятиной армянской готовки, пусть у меня и повышается от них сахар в крови, искусство требует жертв! Изумительная Зоя Межирова из штата Вашингтон, поэт, прозаик и эпистоляр, чувствует меня тоньше и глубже, чем я сам себя, – это не про Фета, а про нее написал Тютчев «иным достался от природы инстинкт пророчески-слепой», действие которого она распространяет не только на собственные стихи и прозу, но и на мои тексты, о которых она пишет, как никто:

*Володя мой Соловьев,
Флейта, узел русского языка,
Бесшабашино-точных
Нью-йоркских рулад соловей,
Завязывающий Слово в петлю,
От которой
Трепещет строка,
Становясь то нежней, то злей.*

А недавно у меня в заочных друзьях появилась поэт Наташа Писарева из Голландии, хотя родом она из Донецка, которая держит руку на пульсе моей по преимуществу автобиографичной прозы и находит, что «по языковому изложению и построению сюжета она похожа на внезапный порыв ветра, который врывается в сознание читателя, не давая ему опомниться от нахлынувшего потока свежего воздуха – это я метафорично позволяю себе выразить восхищение Вашим умением пользоваться нашим могучим и великим» – кстати, это как раз из ее отклика на газетную публикацию этой подглавки. Я уж не говорю про московского блоггера Софию Непомнящую – та и вовсе называет меня легендой своего поколения, того самого, с которым я ищу общий язык, и вряд ли тот мне кудос можно списать на ее мифоманию, которой у нее разве что чуток. Не путать с нимфоманией, хотя кто знает? Такой вот у меня виртуальный гарем – чем хуже реального, которого у меня нет?

И то: словесно обласкан женщинами разных возрастов со всех концов земли, кроме той единственной, чей любви напрасно добивался, а добился только физической близости: жены. Любовь не передается половым путем, пусть ты и уверяла меня в любви, но без влюбленности, которая досталась другим? Ставлю вопросительный знак, хотя следовало бы восклицательный, исходя из твоих проговоров наяву и твоих признаний в моих снах, а из моих сновидений на этот злое*учий сюжет можно составить целый сериал про тот южный е*анарий с его летним раскрепощением нравов и командировочной вседозволенностью. Вот мне и снились эти обрывистые сны с «продолжением следует» на самых если не пикантных, то двусмысленных местах, но никакого продолжения не было и быть не могло, как в том анекдоте: «Опять эта проклятая неизвестность!»

Единственное меня утешало, что быть любимым – тоска смертная, зато любить – восторг, упоение, приключение, напряг, рай, пусть и ад. Рай по дороге в ад, в котором я теперь доживаю свои закатные годы. Потому и апофеоз однолюбия, хоть и не возвожу его в принцип, что все силы, все нервы, вся жизнь ушли на эту единственную любовь, да и тех не хватило. Так полюбить можно только в пятнадцать лет – и до конца моих дней. Как сказал про меня старик Аристотель: влюбленный божественнее любимого. Только что с того? Теперь.

– Представьте себе, – говорю своей дальней, через океан, собеседнице. – Вы живете с опережением. На восемь часов. У нас тут еще ночь.

Тут последовал вопрос, который я сам себе задавал времени от времени в горбачевско-ельцинские времена, но потом все реже и реже, а теперь, когда всё там пошло не по резьбе, – никогда:

– Так зачем было тогда уезжать? – Без всякого перехода: – С вами сейчас будет говорить Яков Михайлович.

– Какой еще, к черту, Яков Михайлович? – не успел спросить я.

– Хелемский, – сказал голос с того – Старого – света. – За уик-энд я успел прочесть только один ваш роман. Не отрываясь. Раз один хорош, то и другой, наверное, не хуже. Издаем под одной обложкой. Сколько?

Все стало на свои места. Хелемский – директор АСТ, куда мой дружок передал два моих романа. Такой быстрой реакции я никак не ожидал и назвал сумму наобум.

– Время жирных авансов прошло, да у нас и нет живых денег, – сказал Хелемский, предложил вдвое меньше и, не дожидаясь моего ответа, сообщил, что на обложке будет стоять только одно название, а на титуле оба. И что моей книгой они открывают новую линейку.

Хоть записывай за ним старые слова в новых смыслах: жирные авансы, живые деньги, а что такое линейка? цикл? сериал?

Заставил себя заснуть, чтобы досмотреть мой ревнивый сон, но приснился мне совсем другой, тоже не из любезных, как блуждаю в отчаянии по московскому метро, а то разрослось неимоверно и изменилось неузнаваемо за время моего отсутствия, пытаюсь выяснить, как мне попасть на мою станцию «Аэропорт», но все говорят почему-то по-английски, который я почему-то не понимаю, хотя уже много лет как в Америке.

– Нет ничего скучнее чужих снов, – сказала Лена, которая, к превеликой моей радости, оказалась жива. – Как мне надоела эта твоя запоздалая ревность! Ты так себя поставил, что тебе невозможно было изменять. Никакого желания – тебя было более, чем достаточно, если ты об этом. Зачем ты меня так обижаешь? Ты же раньше мне верил.

– Раньше верил, – согласился я и перешел от сна к яви. – Представляешь, в Москве издают оба моих романа.

Да, тогда еще не было электронной почты и рукописи приходилось передавать живьем, с оказией – спасибо моему дружку за сватовство.

С того ночного звонка все и повелось – сначала я жил на два времени, а с развитием коммуникационной технологии полностью перешел на московское. Ревность моя не только не утихла, но усилилась, прошлое предстало каким-то совсем иным, чем когда я в нем жил, с моих глаз сняли катаракту, и я прозрел: чем больше я глох на левое ухо, тем зрячее становился мой третий глаз, я видел людей насквозь, тебя включая. А ты, как всегда, говорила правду, но не сразу и не всю, отпуская ее мне дозированно, как тиран подвластному ему народу. Вот почему я не верю тебе, даже когда ты говоришь правду.

Что не могу представить, то все время, непрерывно, мучительно представляю, куда мне деться от клятого моего разнузданного воображения, пусть ложное, сдвинут по фазе, бзик и заскок, а может, и нет, это и есть мой третий зрак, мое внутреннее зрение, мои широко отверстые закрытые зеницы – сквозь прозрачные мои веки я вижу то, что не желаю ни видеть, ни знать. Или это мир становится прозрачным, без никаких секретов, включая интимные? Или я вижу не то, что тогда стряслось на берегу незнамо кому теперь принадлежащего лимана, а что запросто могло случиться по вероятности и необходимости, не могло не случиться, а случилось ли – вот в чем вопрос! Не метаморфоза, а псевдоморфоза, несоответствие формы содержанию, этого не может быть, но это могло быть, и сама эта возможность, вероятность, неизбежность сводит меня теперь с ума. Утоли моя печали, Лена.

Теперь-то я знаю точно, что не только этот мой рецидив прошлого случился со мной, когда я снова стал жить по московскому времени, но и твои иносказательные возвраты к нему, вокруг да около, намеками, оговорками и проговорами, все эти фрейдовские парaprаксисы совпали синхронно с моей виртуальной реэмиграцией на географическую родину.

Именно здесь, в Америке, я прозрел – нет, я не о ревности, не только о ней, но о моем тайном знании тех, о ком я писал свои книги – будь то Андропов, Бродский, Горбачев, Ельцин, Довлатов, Окуджава и конечно же ты, моя любовь, моя мука, хоть я и маскирую тебя под фикшнальных персонажек, в которых ты себя легко узнаешь и возмущаешься: «Как ты смеешь воровать мою жизнь для своих грязных и примитивных выдумок!» Вплоть до нашего с тобой Трампа-Тарарампа, который и сам засветился как шоумен и раз за разом простреливает себе ногу, но горе ему не беда, тефлоновый будет президент, если несмотря на... Либо наоборот – благодаря. Коли недостатки суть продолжение наших достоинств, то

соответственно и *vice versa*: достоинства проистекают из наших недостатков. Если средней руки голливудский актер Рональд Рейган смог стать недурным президентом, то почему не телешоумен? А кто из нас не лицедействует? Излишня, наверное, ссылка на великого барда, потрясающего копьём. За эготистом, эгоцентриком и нарциссистом мы с моим соавтором, которую я взревновал к ее без меня прошлому, когда стал совсем тонкокожим, один воспаленный нерв, мы углядели закомплексованного, уязвленного, ушибленного маленького человека, который хочет возратить не величие Америке, а самоуважение к себе, утраченное им в детстве и юности в результате нанесенных ему душевных травм царем Лаем, которого наш Эдип – в отличие от того Эдипа – так и не удосужился прикончить, зато тот успел его кастрировать. А что, если Белый дом – это карточный домик, куда вместе с Трампом вселится не только его жена-обнаженка, которой он себя доказывает, но и все его тараканы? Да хоть так! Что об этом говорить, когда мы с Леной Клепиковой сочинили о нем эту книгу и знаем теперь его лучше, чем он сам себя, и представили читателю его оксюморонный портрет. По первым газетным публикациям одни сочли диатрибой и бросились на его от нас защиту, другие совсем наоборот – решив, что панегирик, покатили на него бочку компры. Что с них взять, линейного мышления люди.

К тому же куинсомолец, как и мы – родился в этом спальном боре Большого Яблока, куда мы переехали из Манхэттена, зато он – в обратном направлении. Кончал ту же куинсовскую школу, что наш сын, хоть и в разные, конечно, годы. Нет, конечно, не из топографического патриотизма и не из корыстных интересов, как соавтор этой книги не только о нем, желаю ему удачи – по крайней мере, быть номинированным на их республиканском съезде в Кливленде, штат Огайо. А далее? Пусть не по вкусу, зато по нраву. С непредсказуемым Трампом не соскучишься, а с Хиллари взвоешь с тоски. Так пусть он потрясает копьём, как Shake-Speares, пусть сотрясает воздух, пусть превратит the White House into the Trump House. Да хоть в Версаль! Он пошел с козырей, будучи сам козырь, даром, что trump. Флаг ему в руки! Его следовало выдумать даже, если бы его не было.

Это я пустил этот мем в русскоязычный мир: отсутствие есть присутствие. Я не был у себя на родине уже четверть века, с тех скоропалительных побывок, когда сочинял с Леной очередной кремлевский триллер про политические метаморфозы Ельцина, книга хорошо пошла в дюжине стран, включая Россию, но с начала нового столетия случилась географическая, что ли, переориентация, я вернулся в русскую словесность и оказался востребованным, книга за книгой: вот эта – восьмая или девятая за два года, счет потерял! Не говоря о многовидных публикациях в СМИ – там теперь больше, чем здесь. Мало знать себе цену – надо еще пользоваться спросом. Какая, к черту, ностальгия, когда я присутствую там переизбыточно, пусть и виртуально, то бишь метафизически. Вот я и повторяю, как попка: отсутствие есть присутствие. А касаясь моей брэнной плоти, то ей хоть в диогеновой бочке, но с минимальным гигиеническим комфортом, а главное с коммуникационным устройством, связующими меня с остальным миром. Прежде всего со столицей нашей родины, деловая пуповина с которой крепнет день ото дня. Как будто и не обрывалась. В Москву, в Москву, в Москву. Но я и так в Москве – куда больше!

Вот почему у меня радикальным образом изменился распорядок дня – и ночи. Уже не меня будят московские звонки, а я сам бужу себя посреди ночи, чтобы бегло ответить на московскую электронку и снова нырнуть в постель досматривать мои полные тоски и тревоги, один диковиннее другого ревивные сны, фактически – один непрерывный, хоть и прерывистый, а мне заполнять лакуны игрой моего воображения. Я снова живу по московскому времени и заново проживаю, проживаю мою с тобой и твою без меня юность. Включился в московский ритм – рано ложусь, зато просыпаюсь ни свет ни заря. Теперь уже ночные вести оттуда не будят меня, а только возбуждают, взамен утреннего кофе, и там уже знают, что я полуночник. Я и раньше был жаворонком, а ты – сова, и теперь мы вовсе редко с тобой

пересекаемся, живя в одной квартире, но в разных временах. Странно еще, что узнаем друг друга. Оттого у тебя, наверное, и приступы ностальгии, а у меня их нет, сплошь веселие сердца: ты живешь по нью-йоркскому, а я по московскому времени. Мы пригодились бы Эйнштейну для наглядной иллюстрации его теории относительности. Или доказательства унижают истину?

Бабье лето или болдинская осень – по-любому не по сезону, но сама эта востребованность продлила мое литературное существование. Не то чтобы до смерти хочется жить, но мне бы еще год-полтора, чтобы доосуществиться и поймать в силки время, дабы обрести бессмертие. В конце концов и ревность догнала меня в Америке не потому, что живу прошлым, а потому что советское прошлое перестало быть прошлым, став настоящим, как только я стал жить по московскому времени.

Вот еще что – изменился вектор моих сюжетов, произошла инверсия, рокировка, перевертыш: прежде я писал о России для Америки, а теперь пишу про Америку для России. И объясняется это не только конъюнктурой, а сменой вех, если уж на то пошло – сменой интересов. То, что происходит у меня на родине, вызывает у меня смех, стыд, боль, но не любопытство, из одного которого только и стоит жить, а у нас здесь, в Америке, что ни день, то сюрприз, особенно в этот високосный год, когда мы избираем президента, и борьба спустилась ниже пояса: размер пениса Дональда Трампа, слишком малый для президента США, или матка, наличие которой недостаточное основание для президентских амбиций Хиллари Клинтон, а теперь вот – интимные подробности сексуальной жизни кандидатов в президенты и их жен. Такого еще на моем американском веку не было, хотя я и пережил здесь 10 президентских выборов. Жить стало если не лучше, то уж точно веселее. Вот, за что я лично благодарен Дональду Трампу – это он задал тон полемик, хотя соперники его перещеголяли. Какой ни есть, а отвлек от моих ревнивых раздумий на предмет потерянной или не потерянной чести Катерины Блюм. Жду без никакой надежды, когда этот жгучий для меня вопрос потеряет актуальность и станет праздным, академическим, пустяшным.

А потом случился у меня ДР, и вот что произошло.

Первые поздравления на ФБ я стал получать накануне и не сразу догадался, что к чему. Пока не дошло: там, где я родился, я уже родился. По-любому я живу по московскому времени и просыпаюсь ни свет ни заря, чтобы глянуть почту – от тамошних издателей, редакторов и друзей. Враги почему-то не пишут. Потому ли, что они все окопались в городе на Неве либо, будучи старше меня, а я был из молодых, да ранний, по большей части уже вымерли, как динозавры, да и я на роковой стою очереди после смерти моего Бонжура, который был не кот, а друг, никого ближе никогда не было и не будет, мне никак не смириться с бесследным его исчезновением, Бог забрал его вместо меня, замен не осталось, теперь моя очередь. Был прецедент: автор лимериков Эдвард Лир умер спустя четыре месяца после смерти своего компаньона кота Фосса, с которым прожил душа в душу 16 лет.

Первое поздравление пришло, однако, не из Москвы, а из Италии от моего френда на фейсбуке Gianfranco Bidoli: AUGURONI! Какое все-таки счастье, что мы живем в глобал виллидж и нас всех объединяет нечто большее, чем то, что разъединяет! Что виртуальные и метафизические связи не уступают физическим, а часто – и все чаще и чаще! – их превосходят. Какое счастье, что – жаль, конечно, что только раз в году – у каждого из нас случаются дни рождения и мы на себе ощущаем этот сердечный, душевный, духовный союз поверх всех физических, пространственных, идеологических, политических и прочих барьеров. Вот за это сродство я и поблагодарил всех, кто помянул меня в мой день, мысленно обняв всех и каждого/-ую по отдельности.

Единственный, кто меня не поздравил, – этот RINO Дональд Трамп: Republican In Name Only. Ну, как наши католики раз в году – в Рождество. Улица с односторонним движением – я о наших с Трампом отношениях. Скорее всего, ему даже невдомек, что мы с люби-

мой и обожаемой мною Еленой Клепиковой написали о нем – пусть не только о нем – книгу, которая, прочти он ее, объяснила бы ему, кто он есть на самом деле. Весь вопрос: хочет ли Дональд Трамп узнать о себе больше, чем он сам о себе знает? А пока что рад был познакомиться с этим незаурядным человеком, без разницы, станет ли он нашим президентом.

А за кого буду голосовать я? Вот в чем вопрос!

Конец главы. Отбой

Быть Сергеем Довлатовым. Жизнь после смерти

Канва жизни Сергея Довлатова

Даты. События. Комментарии

3 сентября 1941. В Уфе в эвакуации в семье актрисы (позднее корректора) Норы Сергеевны Довлатовой (армянка, 1908–1999) и театрального режиссера Доната Исааковича Мечика (еврей, 1909–1995) родился сын Сергей Мечик. В советском паспорте значился как Сергей Донатович Мечик-Довлатов, по американским документам – Sergei Dovlatov. На фасаде дома № 56 по улице Гоголя в Уфе, где Довлатов родился, установлена памятная доска.

1944. Семья возвращается из Новосибирска в Ленинград и живет в коммунальной квартире в доме № 23 на улице Рубинштейна. Сейчас там установлена мемориальная доска с автопортретом Довлатова: «В этом доме с 1944 по 1975 г. жил писатель Сергей Довлатов».

1947. Когда Сереже было шесть лет, его родители разошлись. Позже Донат Исаакович Мечик женится на Люсе Рябушкиной, которая росла в семье писателя Геннадия Гора и одно время, будучи еще школьницей, присматривала за маленьким Сережей на даче в Комарове, писательском поселке под Ленинградом. Дочь Доната и Люси Ксана Мечик – сводная сестра СД.

1959. Довлатов поступает на филологический факультет, отделение финского языка, Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова; знакомство с сокурсницей Асей Пекуровской, будущей женой (первой).

Новогодняя ночь 1960 г. Соитие в Павловском парке с Асей Пекуровской, *femme fatale*, роковой Довлатова. «Зачем они обременили себя штампами? – реплика их знакомой. – Вообще вся эта любовная история чрезвычайно театральная. Хотя черт знает, чем закончилась».

1960. Провальное чтение Иосифом Бродским поэмы «Шествие» в комнате СД на ул. Рубинштейна. Поэма была раскритикована в пух и прах самим СД, Асей Пекуровской и их гостями – Бродскому было отказано в поэтическом даровании. «Прошу всех запомнить, что сегодня вы освистали гения!» – сказал ИБ, покидая этот квартирник. У авторов есть все основания полагать, что это унижение поэта плюс соперничество ИБ и СД из-за Аси Пекуровской («моей девушки», по словам Бродского) сказались на их дальнейших отношениях. См. главу «**Тайна любовного треугольника**» в книгах Владимира Соловьева и Елены Клепиковой о Довлатове.

1961–1962. Драматические последствия любовной драмы СД, послужившей впоследствии сюжетом его терапевтической прозы – неизданного питерского романа «Пять углов» и нью-йоркской повести «Филиал»: отчисление из ЛГУ и призыв в армию. Служил в системе охраны исправительно-трудовых лагерей на севере Коми АССР. Армейские злоключения СД описал в книге «Зона. Записки надзирателя».

1963. Перевод в воинскую часть под Ленинградом и, соответственно, частые визиты к родным и друзьям.

1965. Начало сентября – демобилизация и возвращение в Ленинград. После армии – работа в многотиражке Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям», был также литературным секретарем Веры Федоровны Пановой. Непрерывная писательская деятельность и бесплодные попытки опубликовать свои рассказы в журналах и издать книжки. Вот отрывок из уничтоженного, но восстановленного в этой книге письма СД: «Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями...»

1966. Рождение у СД и Елены Довлатовой (в девичестве Елена Ритман) дочери Кати.

13 декабря 1967. Творческий вечер СД в Доме писателей им. Маяковского, первый и единственный в Советском Союзе. Вступительное слово – литературный критик Владимир Соловьев. См. фотографии в этой книге.

1968–1969. Первые публикации в журналах «Аврора» и «Крокодил». Литературные мытарства описаны Довлатовым в его «Невидимой книге». В этом издании см. главу Елены Клепиковой «Трижды начинающий писатель».

1970. У разведенки Аси Пекуровской родилась Маша, которую она позднее стала выдавать за дочь Довлатова, но он категорически, письменно и устно, отрицал свое отцовство, ссылаясь на то, что между ними уже не было близких отношений, необходимых для зачатия. Ввиду отсутствия ДНК авторам пришлось провести скрупулезный анализ, и они в этом спорном вопросе принимают точку зрения СД См. главу «Гигант с детским сердцем» в книгах Владимира Соловьева и Елены Клепиковой о Довлатове.

Сентябрь 1972 – март 1975. Первая – внутренняя – эмиграция Сергея Довлатова в Эстонию. Работал в Таллине кочегаром в котельной (чтобы получить прописку), штатным газет «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин», затем был принят в штат «Советской Эстонии». Жизнь в Таллине описана в книге «Компромисс». «Командировочный» роман с Тамарой Зибуновой и рождение у них в 1975 г. дочери Александры, которую СД вписал в свой паспорт. Крах литературных надежд Довлатова, ради которых он и переехал в Таллин: набор его первой книги «Пять углов» в издательстве «Ээсти Раамат» был рассыпан по указанию КГБ. См. рассказ Елены Клепиковой «Таллин: бросок на ближний Запад» в этой книге. На стене дома № 41 по ул. Рабчинского (сейчас улица Вабрику) установлена бронзовая доска в виде книжного разворота: слева – текст, а справа – Довлатов со своей любимой собакой, фокстерьером Глашей.

1974. Публикация в «Юности» производственной повести Довлатова «Интервью». СД приводит отзыв, который, скорее всего, сочинил сам:

*Портрет хорош, годится для кино,
Но текст – беспрецедентное говно.*

1976–1977. Сезонная работа экскурсоводом в Пушкинских Горах, положенная в основу сюжетного драйва повести «Заповедник». В Пушкинских Горах открыт дом-музей СД.

1977. Первая книга Довлатова в США на русском языке («Невидимая книга». – Ann Arbor: Ардис). За 14 лет у СД вышло больше дюжины книг на русском и с полдюжины на английском. Все эти годы до самой смерти СД тесно сотрудничал с радио «Свобода» на регулярной, хоть и нештатной основе: фрилансер.

Апрель 1978. Елена и Катя Довлатовы эмигрируют в США. Спустя несколько месяцев за ними последуют Сергей и Нора Сергеевна Довлатовы.

Февраль 1979. Воссоединение семьи в Нью-Йорке, где Сергей до самой смерти жил в Форест-Хиллс, вблизи 108-й улицы, главной русскоязычной артерии Куинса, одного из пяти боро Большого Яблока. В 2014 г. часть улицы, на которой жил Довлатов и где до сих пор живут Елена Довлатова с Катей и Колей, переименована в честь СД.

1979. Первая книга Довлатова на английском в США (The Invisible Book; Translated by Katherine O’Konor. – New York: Knopf).

9 июня 1980. Первая публикация СД в журнале «Нью-Йоркер»: рассказ «Юбилейный мальчик» (The Jubilee Boy; Translated by Ann Frydman. – P. 39–47). Всего у Довлатова было девять публикаций в этом суперпрестижном издании – рекорд для русского писателя в Америке.

1980–1982. Главный редактор еженедельника «Новый американец», работа в котором описана в повести СД «Невидимая газета».

1981. Рождение у Довлатовых сына Коли – Николаса Доули. Семейная жизнь описана СД в отличной повести «Наши».

24 августа 1990. Гибель Сергея Довлатова в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь на Кони-Айленд. По словам шофера той «скорой»: «He choked on his own vomit».

26 августа 1990. Похороны Довлатова на еврейском кладбище Mount Hebron в Куинсе.

Елена Клепикова. Трижды начинающий писатель

Владимир Соловьев делал в Нью-Йорке фильм «Мой сосед Сережа Довлатов». Первый о нем фильм. Помимо самого Довлатова, в фильме были задействованы те, кто мог о нем интересно вспомнить. Пригласили и меня вспоминать. Оказалось, мне было что. Более того, моя память о Сереже (я только так его звала и впредь буду), и прежде всего – о ленинградском горемычном Сереже, безуспешно обивающем пятнадцать лет напролет пороги журнальных редакций, заработала так интенсивно, что фильмовой вставки не хватило и захотелось оглянуться еще раз уже на бумаге. Это еще одна, новая попытка понять этого трагического человека. Просечь колоссальный Сережин блеф. Разгадать стратегию этого литературного неудачника, который, игнорируя тотальный остракизм, продолжает как ни в чем не бывало виртуальное существование в литературе, где его нет и где он никто. Что дает ему этот театр абсурда, где Довлатов один на один с самим собой в пустом зале: автор – актер – зритель?

Как-то повелось вспоминать и писать о Довлатове – с легкой руки его автогероя – иронично, светло и в мажоре. По мотивам и в тон его эмоционально бестрепетной прозы. У меня в дневнике за ноябрь 1971 года записано: «Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он – писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать».

Вспоминаю мытаря, поставившего рекорд долготерпения. Убившего годы, чтобы настичь советского гутенберга. И не напечатавшего ни строчки. Выделяю три исхода – по месту действия – Сережиных попыток материализоваться в печатном слове: в Ленинграде, Таллине, Нью-Йорке.

Ленинград: хождение по мукам

Семидесятые, их первая половина. Я работала в «Авроре» редактором прозы. Был такой молодежный журнал, как бы ленинградский подвид «Юности». Его давно и бесславно схоронили как никому не интересный и ничем не памятный труп.

Однако рождение «Авроры» летом 1969 года было событием чрезвычайным и крайне желательным для всех пишущих питерцев. Было отчего ликовать – впервые за много-много лет, чуть ли не с зачина советской власти, в городе возник новый литературный, и притом молодежный, журнал. То, что это был ежемесячник для молодых, предполагало – даже для идеологических кураторов журнала – необходимую дозу экспериментаторства, хотя бы тонового куража, хотя бы стилевого модернизма.

Короче, журналу была дана некоторая, очень скудная и загадочная, свобода в выборе авторов и их текстов. На их партийной фене, молодежный журнал должен быть боевым, задорным, зубастым и клыкастым. Не знаю, куда уполз этот крокодил. На самом деле быстро набирала убойную силу реакция после оттепельной эйфории, которая и так не слишком была эйфорийна в городе на Неве. Новорожденная «Аврора», начав неплохо ползать, самостоятельно ходить так и не научилась. Ее грозно опекали со всех сторон обкомы партии, комсомола и кураторы из КГБ.

Не только питерцы радовались и питали надежды. Новый печатный орган был моментально замечен и взят на прицел и такими, казалось бы, оттепельными суперменами, вкусившими кумирную славу, как Евтушенко, Окуджава, Фазиль Искандер, Аксенов, Стругацкие и злополучный (о чем ниже) Владимир Высоцкий. Не говоря уже о всесоюзных писателях среднего и ниже разбора. Просто к тому времени от оттепельного творческого разлива по стране не осталось ни ручейка, ни просто капли.

На первых порах «Аврора» была бездомна, и вся редакция – тринадцать человек – ютилась в двух комнатухах, уступленных из своих барственных апартаментов детским журналом «Костер». Горела плитка, на ней вздорно клокотал чайник, машинистка стучала застуженными пальцами с утра до позднего вечера и с обидой намекала на повышение зарплаты. Нагая лампочка в двести ватт тщетно силилась прострелить в упор дымовую завесу от курева. Это было время беспочвенного энтузиазма, либеральных замахов и совершенно утопических раскладов будущего «Авроры». Готовили по три варианта – если «там» зарежут – одного журнального номера.

Однажды возник на пороге, хватанув дверь настежь, совершенно не литературный на вид, слегка напряженный и растерянный – не знал, куда идет и как примут, – мастодонтный в зимнем прикиде Сережа Довлатов. И главная редакторша, не знавшая в лицо творческую молодежь, еще успела с раздражением крикнуть ему, что не туда сунулся, ошибся дверью, вот и закрой ее, сделай милость, с другой стороны. Сережа остолбенел, но быстро справился и даже пошутил о прелестях военного коммунизма.

Так я впервые с ним встретилась в рабочем, так сказать, порядке, хотя была знакома с его рассказами и с ним лично – через Владимира Соловьева, который с Сережей приятельствовал и даже сделал вступительное слово к его авторскому (единственному на родине) вечеру в Доме писателей (где Довлатов парадоксально и весело солировал на пару с Гейне, чье 170-летие отмечалось в тот же день и час, и Сережа клятвенно заверял, что его, а не великого немца, поклонники значительно преобладали). Соловьев, в свои 25 лет уже заметный в столицах критик, был одержим открытием «новых имен» в литературе и искусстве. Разглядев в Довлатове оригинальный и редкостный (юмор – всегда в дефиците) талант, он тут же предложил эту поощряемую в середине 60-х годов рубрику в газеты и журналы. Отказ был единодушен и крут. Сережа уже тогда не лез в ворота цензурованной литературы и с самого безобидного, казалось бы, творческого начала был осужден на изгойскую литературную жизнь, обречен на горестную бездебютность. А пока что Володя приносил домой папочки с его рассказами, а потом уже я, работая с 69-го года в «Авроре», лет пять снабжала его интересными для нас обоих образцами все растущего, все мужающего мастерства профессионального писателя Довлатова, которому, как оказалось, пожизненно на родине был заказан путь в печать. Но вернемся к Сереже, который, наверное, уже заждался, заскочив впервые в негостеприимную «Аврору».

Прослышав о новомодном, да еще молодежном журнале, Довлатов принес сразу целую пачку рассказов, чего никогда не делал впоследствии, тщательно их дозируя. Очевидно, он где-то прослышал байку о либеральном уклоне и дерзости «Авроры».

Я хорошо запомнила наш разговор с Сережей по причине, совершенно посторонней, хотя нелепой и досадной и преследующей его до конца хождений в «Аврору». При переезде редакции в новое помещение на Литейном Сережины рукописи затерялись в общем бардаке и были очень не скоро, года через два, найдены в архивах журнала «Костер».

А тогда в моем углу, где было ни присесть, ни притулиться, Сережа прошелся насчет образной скудости названия журнала по крейсеру. Совсем нет, говорю в шутку, журнал назван в честь розоперстой богини, дочери Посейдона, встающей – что ни утро – из синих океанских вод. Коли так, мгновенно реагирует Сережа, смотрите – вот орудийные жерла легендарного крейсера берут на прицел вашу розоперстую, ни о чем таком не подозревающую богиню. Ба-бах! – и нет богини. Только засранный крейсер. Да и тот заношен до дыр. Есть дрянные сигареты «Аврора», есть соименное швейное объединение, бассейн, кинотеатр, спортивный комплекс, ясли, мукомольный комбинат, закрытый военный завод и дом для престарелых коммунистов. Великий-могучий, отчего ты так иссяк? И Сережа, дурачась, изобразил идейно-лексическое триединство питерских взрослых журналов такой картинкой: течет революционная река «Нева», над ней горит пятиконечная «Звезда», стоит на приколе

«Аврора». А на берегу, возле Смольного, пылает в экстазе патриотизма «Костер», зажженный внуками Ильича.

Что-то в этом роде. Сережина версия была точной и смешной. Он стоял в пальто, тщетно апеллируя к аудитории, – никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактриса смотрела хмуро. И ни один, из толстой папки, его рассказ не был даже пробно, в запас, на замену рассмотрен начальством для первых «авроровских» залпов.

Когда «Аврора» переехала в свои апартаменты на Литейном, Довлатов стал регулярно, примерно раз в два-три месяца, забегать с новой порцией рассказов. До «Авроры» он успевал побывать и уже получить отказы в «Неве» и «Звезде». Ему было за тридцать, он не утратил веру в разумность вещей и производил впечатление начинающего.

В первые «авроровские» годы сюда заходили, взволнованно и мечтательно, Стругацкие, Битов, Вахтин, Валерий Попов, Володин, Рейн, Соснора, Голявкин, Конецкий – весь питерский либерально-литературный истеблишмент. Да и московский наведывался. Случалось, их мечты сбывались. Бывало и так, что «Аврора», по принципиальному самодурству питерской цензуры, печатала то, что запрещалось цензурой московской. Так случилось с Фазилом Искандером, Стругацкими, Петрушевской. Так никогда не случилось с Бродским, Высоцким, Довлатовым. Чемпионом в пробивании своих вещей был Битов. У него была своя отработанная тактика давления на главного редактора. При отказе он изображал кровную, готовую в слезы обиду. Стоял надувшись в редакторском кабинете, смотрел в пол, поигрывая ключами в кармане брюк, говорил глухо, отрывисто, горько – и неизменно выговаривал аванс, кавказскую командировку и печатный верняк.

* * *

Именно в «Авроре» была похоронена последняя надежда приникнуть к советскому печатному слову у Владимира Высоцкого. Несмотря на его гремучую славу, на то, что его основные тексты были на всеобщем – по Союзу – слуху, он как-то умильно, застенчиво, скромно мечтал напечататься в какой-нибудь журнальной книжке. Или – совсем запредельная мечта – в своей собственной книге стихов. Он мечтал слыть поэтом, а не бардом. Бардностью он тогда начинал тяготиться.

Был ему отворот-поворот во всех столичных и периферийных журналах. От издательств – еще и покруче. И тут в Ленинграде взошла незаметно и непонятно как «Аврора». Высоцкий выслал подборку стихов – почти все о войне. Горько патриотичны, скупы лиричны, тонально на диво – для неистового барда – умеренны, стихи эти не только не выставляли, а как бы даже скрывали свое скандальное авторство и были актуально приурочены к какой-то годовщине начала или конца войны. Комар носу не подточит. И у обкома не нашлось аргументов, хотя искали и продолжали искать. Цепенели от взрывного авторского имени. Помню эту подборку стихов Высоцкого сначала в гранках, затем в верстке, в таких больших открытых листах. С картинками в духе сурового реализма – с военной тематикой. Поздно вечером Высоцкий с гитарой (обещалась и Марина Влади, но не прельстилась «Авророй») прибыл в редакцию, где его поджидали, помимо «авроровских» сотрудников и гостей, кое-кто и без приглашения, но это было нормально. И два часа с одним перерывом Высоцкий честно отработывал – пока не потерял голос – свой единственный шанс стать советским поэтом. Только тогда обком среагировал как надо. Очень неприятно, судя по реакции Высоцкого, когда тебя подбивают у самого финиша. Вскоре и Довлатову предстояло, и еще круче, испытать такое в Таллине.

Когда Довлатов допытывался однажды, отчего его не печатают, я привела идиотский, как теперь понимаю, пример тотальной обструкции, которую ленинградские власти устро-

или поэме Евгения Евтушенко, отрезав все пути для компромиссного лавирования, к чему поэт был очень склонен. Но Довлатова этот случай глубоко поразил – не редкостью стервозностью питерской цензуры, а готовностью к любым компромиссам и отсутствию всяких творческих притязаний у самого поэта. Каторжные и стыдные условия советского успеха высветились тогда перед Сережей, еще питавшим кой-какие иллюзии на этот счет, с резкой четкостью. Вот как было дело.

Весной 1970 года Евтушенко самолично прибыл в «Аврору» с поэмой об Америке. Позднее она была названа с некрофильским душком – «Под кожей статуи Свободы».

Открыто выступив против оккупации Чехословакии, глашатай хрущевских свобод был временно отлучен от печатного слова и даже стал на полгода невыездным, что явилось для поэта-гастролера неопишуемой трагедией.

Абсурд зашел так далеко, что Евтушенко не мог напечатать свою антиамериканскую поэму в разгар антиамериканской истерии. Одна надежда была на провинцию. Точнее, на столицу русской провинции – Ленинград: на прогрессивный по неведению молодежный журнал «Аврора».

К поэме прилагались шикарные фотографии: Евтушенко и Роберт Кеннеди с бокалами в руках, поэт и все одиннадцать детей претендента на американский престол, поэт в обнимку со статуей Свободы.

Рукопись немедленно исчезла из редакции. «Там» ее читали страстно, въедливо, с идеологической лупой в руках, с миноискателем. Читали про себя и вслух, с утра и до позднего вечера. Выискивали подвохи, засады, западни и ловушки, теракты и склады с оружием. Читали сразу несколько организаций – ревниво, ревностно и не делясь результатами.

В итоге замечаний «по существу» набралось 31. Евтушенко в веселой ярости кусал заграничный «паркер». Как ни странно, но эта адская работа вызывала в нем приступ азарта, похожий на мстительное вдохновение.

В кабинете главного редактора поэт быстро просмотрел цензурованную рукопись, завернул шторы, включил свет, попросил бумагу и черный кофе. К шести вечера он встал из-за стола. Тридцать одна правка – вставки, замены и подмены были сделаны.

К следующему вечеру поэма легла на редакторский стол с двадцатью четыремя тактическими замечаниями, не считая курьезных. Евтушенко просидел в редакции ночь, и к утру новую поэму (ибо уже не оставалось ни одной направленной строки) уже читали «там». К вечеру они внесли 18 «конструктивных предложений» по коренной переделке поэмы. Евтушенко удовлетворил их все, и даже – наугад – четыре сверх нормы.

Тогда, наконец, обком сдался. На четвертые сутки этого яростного поединка поэта с цензурой в редакции заурчал черный телефон, и обмирающая от страха наша редакторша выслушала грозный вердикт: передайте Евгению Евтушенко, что его поэма, несмотря на многократные исправления, напечатана быть не может, ибо дает повод к ухудшению отношений между СССР и США.

Довлатов высказался так: у Евтушенко стих не натуральный, а из синтетики.

Сдается мне, что из этого эпизода Довлатов извлек для себя мрачноватый итог: если всесоюзный кумир Евтушенко из кожи лезет ублажить цензуру, то как быть ему, неизвестному автору, склонному к прямоговорению, пусть и утепленному юмором, но юмор этот репризен и в упор, как в анекдоте? Получая из редакций абсолютно немотивированные отказы, а только «не подходит» и «не годится», Довлатова соблазняло рационально вычислить признаки своего несоответствия печатным стандартам эпохи. Он не хотел, да и не мог виртуозно, как Евтушенко, халтурить, но был совсем не прочь достойно соответствовать.

Из всех сил он избегал, пока мог, социального отщепенства, литературного андеграунда, запальчивого неконформизма. Он даже трогательно пробовал по редакциям наста-

ивать на своих правах – на липовых правах автора-профессионала, каким себя ощущал, – публиковаться в отечестве.

Этот правовой напор в Довлатове исходил, конечно, из его трехлетней работы в государственном секторе, когда он был хоть и малым, но полномочным представителем власти в зоне. И легализация его писательства одновременно утолила бы его ущемленное гражданское чувство.

Никто его не принимал всерьез – как оригинального писателя или даже вообще как писателя. Помню у Битова, у Бродского, у Марамзина, у Ефимова, у Гордина, да у многих такой пренебрежительный на мой вопрос отмах: «А-а, Довлатов» – его воспринимали как легковеса. Наперекор его телесному громадью. Что любопытно: почти все эти, важные для Довлатова, питерские «состоявшиеся» молодые писатели, игнорируя его, вовсе его не читали, вспоминая сейчас только самые ранние его рассказы. А он писательствовал на родине без малого пятнадцать лет. Точно сказано: «Сережа был для них никто» – в смысле известности и пренебрежения им его коллег.

Вот здесь я хочу, ломая хронологию и связность своего же рассказа, встрять и возразить этому самодовольному и спесивому питерскому литературному бомонду, которые нынче все в чинах, все литературные генералы, – вроде бы чего еще им надо, а все едино толкуют о ленинградском литературном неудачнике Довлатове: «несостоявшийся писатель», «ничем не примечательный», «писал какие-то жалкие фельетоны...», и даже – что печатать его тогда было совершенно невозможно, просто смешно...

Как очевидец, опровергну. И начну с очевидностей. Каждый живой писатель растет и изменяется. Не может талантливый автор (ощущающий свой врожденный дар как судьбу) работать пятнадцать кряду лет в литературе и не стать хотя бы крепким профи (в чем ему отказывают бывшие коллеги, нынешние литературные сановники). Довлатов пошел дальше – он добивался мастерства, трудоемко осваивал технику писания, разрабатывал свой, предельного лаконизма-ясности-простоты, стиль, тиранил слова, извлекая из каждого максимальную выразительность, исподволь приобретал навык логичного и точного письма (об изяществе, артистизме, виртуозности он тогда не заботился) – да что там! У «неказистого» писателя Довлатова уже в начале семидесятых был под рукой солидный творческий инструментарий. Он хотел стать мастером, и он им стал – мастером короткой формы.

Я пишу не апологию Довлатову, а для восстановления справедливости, к которой, всячески униженный в своем писательстве, Сережа частенько взывал. О ленинградском писателе Довлатове – его ошибках и достижениях – я еще расскажу в следующих главах. Но здесь застолблю: именно в Ленинграде, непрерывно экспериментируя и неустанно работая, невидимый на страницах журналов и книг Довлатов стал весьма значительным писателем, притом автором оригинальным, особенным, ни на кого не похожим, ибо учился у самого себя. Никому не подражал, не завидовал, ни от кого не брал и не создавал кумиров (литературные кумиры у него водились до опытности). Повторяю, он знал цену своим вещам.

Нет, не в Америке вдруг возник, как феникс из своего же пепла, хороший писатель Довлатов. Знаю, что в эмиграции он отредактировал всю свою старую прозу. Знаю – почему. Опускаю очевидное: на воле Довлатов интонационно и семантически выпрямил свои тексты, сознательно изуродованные и обедненные самоцензурой. Мне важно другое. В России он был плотно связан со своим временем, с жизненной и литературной конкретикой, держал интенсивную связь с читателем, с широкой публикой, которой не имел, но ощущал под боком непрерывно и сладострастно. В Нью-Йорке Довлатов подверг свои ленинградские рассказы с их сильным запашком от времени и места филигранной отделанности, взыскательному эстетизму, стилевому блеску. Но я до сих пор храню верность некоторым его прежним, не отретушированным по-новому, сыроватым текстам с их животрепещущей конкретностью.

* * *

Пора вернуться к «непритязательному человеку» Довлатову, сильно киксующему в той звездной компании гениев, официально или негласно признанных, куда его не очень-то принимали и считали посредственностью, заурядом, ничтожеством.

На вечеринках у Игоря Ефимова, где гостей сажали, как в Кремле или Ватикане, по рангам, Сережа помещался в самом конце стола без права на женщину. То есть из тридцати гостей у педантичного Игоря трое самых ничтожных не могли приводить своих женщин. И Сережа, давя в себе позывы встрять, весь вечер слушал парный конференс Наймана и Рейна, сидящих по обеим сторонам от сопредседателей Ефимова и его жены. Находясь в загоне, Сережа сильно киксовал и развлекал таких же, как он, аутсайдеров в конце стола.

«Смотрите все!» – и подымал с пола стул за одну ножку на вытянутой руке. Говорил, что так может он и еще один австралиец. Единственное, что ему оставалось.

Сережа не обижался. Он признавал эту табель о рангах. Соглашался на низшие ступени в этой иерархии талантов. Мечтал когда-нибудь стать полноправным членом их элитарного клуба. Но, как всегда, опоздал. Бродский эмигрировал в Америку, Битов, Рейн и Найман – в Москву, Ефимов какое-то время удачно изображал остров – в изоляции от чумного литературного материка. Но это позднее. А пока что Довлатов ходил по редакциям.

Сразу взял такой, к общению не влекущий, тон: мол, его проза, ее достоинства и недостатки не обсуждаются. И все допытывался, отчего не печатают. Трудоемко от низовых, как он называл, журнальных чиновников добивался до начальства, да так и не узнал, кто управляет литературой. Вздорная, на мой взгляд, пытливость. Не такой уж он был наивняк, играл в лоха, уязвленного отказами. А скорее суеверно оберегал себя от прискорбного реала. Так и хотелось врезать: в «Авроре» литературой управляют обком комсомола, обком партии и гэбуха – да, тот самый Большой дом: вон, глянь в окошко – недреманное око. Но о политике мы с Сережей не говорили.

Как-то очень скоро выяснилось – Довлатов-прозаик абсолютно неприемлем для «Авроры» (ему давали подзаработать редкими статеечками на злободневные рабочие темы). Первый «авроровский» главный редактор Нина Сергеевна Косарева, перекинутая в журнал с партийной работы, Довлатова, зачавшего в редакцию, круто не одобряла (будто за ним водился какой-то криминал – уголовный или, наоборот, диссидентский). А между тем Косарева была честолюбивым и вовсе не мракобесным редактором, хотела делать интересный, нестандартный, «с живинкой» (ее слова) молодежный журнал, допускала кое-какие художественные вольности и даже эксперименты, покушалась на Стругацких, бывших тогда, после «Улитки на склоне», в опале, и явно засматривалась на авангардных знаменитых москвичей. Увлекалась – хотя часто из осторожности браковала – выисканными мною из потока молодыми талантами, «новыми именами» (Петрушевская – яркий пример). Но Довлатов, с его регулярными заходами в «Аврору», был неизбежно и очевидно неприемлем. Более того, он был физиологически несовместим с официальной литературой, которой так мучительно и с адским терпением добивался. И Косарева охранительным чутьем сразу схватила писательское отщепенство Довлатова. И никакой ее вины в этом нет. Не она управляла советской литературой.

Вспоминаю одно оскорбительное для Сережи обстоятельство. Утомившись сначала одобрять, а потом браковать Сережины тексты и до смерти страшась его очередного визита (мука, мука и мука!), я умолила Косареву лично принять талантливого автора, предварительно снабдив ее двумя невинными городскими (ни в коем случае не армейскими!) рассказами Довлатова. Да он и сам добивался встречи с начальством, а не с «низовыми чиновниками». Но когда Сережа явился в назначенный час, Косарева его не приняла, сославшись на

занятость. Рекомендованные мною в номер рассказы были мне же и возвращены с репри-мандом – отказывать негодным в печать авторам должна я, рядовой редактор.

И пошло-поехало на все шесть лет, что я проработала в «Авроре»: я упорно одобряю, сидящий напротив меня заведующий отделом прозы Борис Никольский, человек глубоко порядочный, совестливый, с чутьем на классную прозу и сам неплохой, хотя и средний писатель, честно все вычитывает, возвращает мне, я звоню или пишу Сереже – чтоб забрал. И ничего не менялось со сменой начальства – изгойская участь, фантазийное авторство, тотальное непризнание и непечатание преследовали писателя Довлатова всю его жизнь на родине.

Володя Торопыгин, следующий главный редактор «Авроры», посылно либеральный и верный всем подряд оттепельным идолам, обижался, когда я давала ему на одобрение Сережины рассказы. Это был человек от природы приятный, добрейший, бескорыстно восторженный к литературному таланту (сам был очень скромного дарования поэтом). Я сводила его с Довлатовым дважды, и Торопыгин не посмел ограничиться начальственным отказом, они долго беседовали, Торопыгин что-то конкретно пообещал, что-то бурно похвалил – со слов Сережи, и тот позднее пришел ко мне в отдел прозы (мои завывания отсутствовали, а Горышин, сменивший Никольского, и вовсе не присутствовал) – пришел, говорю, ко мне окрыленный надеждой. Несбыточной, вестимо. Потому что неизбежный отказ малодушный Торопыгин – хорошо хоть от своего имени – возложил на меня. Главред не считал, что ради Довлатова стоит нарываться на неприятности с цензурными (и не только) людьми, на которые он шел ради Стругацких, Володина, Голявкина, Битова, Сосноры и других. Но главное тут было: рискнуть напечатать Довлатова – ну просто нелепо, фатально для карьеры, ведь этот развеселый насмешник-юморист был официально, пусть и негласно (а может, и вполне циркулярно), запрещен всякими охранительными органами в литературу.

Причины? Одна наглядная: Довлатов, как будто дурачась, располагал свои тексты на сплошь заминированном цензурой поле. Но главная причина – коренная, в самой органике его таланта, в творческом методе писателя, во внутренних ходах его. Пользуясь юмором как сюжетным рычагом, Довлатов выворачивал наизнанку советскую ежедневность и убедительно, весело, с чуткой иронией преподносил читателю эту абсурдную, нелепую, кошмарную, трагическую, невыносимую изнанку советского – нет, не быта, а именно бытия, как привычное и вполне терпимое дело, не лишенное забавности и даже комизма. Вот почему его антисоветский негатив похлеще любой листовки. Отдадим должное редакторам и цензорам: они почувствовали, уловили первыми – на инстинктивном, подсознательном, глубоко охранительном уровне – взрывную и подрывную силу довлатовского юмора.

О том, что Сережины рассказы – ни один! – не были цензурно проходимыми, мы говорили с ним не раз. Но что он непечатаем по органическому свойству своей прозы, я ему никогда не говорила.

К тому времени он просто ненавидел литературных критиков.

Иногда Сережа малодушничал. Раза два ловил меня на слове: если я соглашусь изменить, где вы сказали, есть ли гарантия – хотя бы на 50 процентов, – что напечатают?

Разумеется, речь шла не о редакторской правке – такое заведомо исключалось в довлатовских литых текстах. Сережа лукавил, предлагая остроумно обойти цензурные капканчики, расставленные буквально у каждой строки его текстов.

А добивался он, казалось, малого: не славы, не чинов, не денег – просто работать по специальности, стать литератором. Чтоб, как он однажды съездил на свой счет, малому кораблю – малое плавание, но плавание, черт возьми, а не простой в порту.

Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского гутенберга?

* * *

Бродский, вернувшись из ссылки, как, впрочем, и до, мечтал напечататься в отечестве. Носил стихи во все питерские журналы. Вещал на подъеме в отделах поэзии. В срок справлялся о результате. Огорчался не сильно, но все-таки заметно огорчался. И никогда не интересовался резонами, полагая в природе вещей.

В «Аврору» он забегал не только со стихами, но и поболтать с приятелями в просторном холле, заглянуть к юмористам, ко мне, к обожавшей его машинистке Ирэне Каспари, пообщаться с Сашей Шарымовым, ответственным секретарем и англоманом, – он тогда тайком переводил стихотворную часть набоковского «Бледного огня». Как раз в отдел поэзии, в котором хозяйничала невежественная поэтесса, полагавшая кентавра сидящим на лошади, а Райнера Марию Рильке – женщиной, Бродский заходил только по крайней надобности.

С печатаньем было глухо, он был, что называется, на пределе и уже намыливался – тогда еще только книжно – за границу. И обком и опекуны-соседи из КГБ прекрасно понимали, какое это чреватое состояние.

Насчет гэбистского опекунства. Бродский заметил, что если взять за вершину разнородного треугольника, поставленного на Литейном проспекте, «Аврору», то две другие точки этого треугольника упрутся слева в логовище КГБ, справа – в дом Бродского. «Аврора» таким путем – это пункт связи между ним, к «Авроре» приближающимся, и гэбистами, ведущими за ним неусыпный надзор. Ход конем через «Аврору» – и он, хочешь не хочешь, в гостях у КГБ. Или – обратный ход конем – КГБ в гостях у него. В этом не было позерства. Однажды, когда Ося, договорившись зайти в «Аврору», передумал, гэбист под видом автора напрасно прождал его в фойе битый час.

Итак, в начале 1970 года Бродскому было внятно предложено занести в «Аврору» подборку стихов на предмет публикации. Он занес стремительно. Заметно приободрился. Всегда потрясает этот сиятельный эффект надежды посреди крошечной тьмы безнадежности.

«Авроровская» машинистка Ирэна, и так в отпаде от Бродского, вдохновенно печатала его стихи. Затаивший надежду, как спартанского лисенка, Бродский излучал на всю редакцию уже нечеловеческое обаяние. Даже тогдашний главный редактор, партийная, но с либеральным уклоном дама, подпала – заручившись, правда, поддержкой обкома – под интенсивные поэтовы чары.

В обкоме, просмотрев Осину подборку, предложили, как положено, что-то изменить. Не сильно и не обидно для автора. Бродский отказался, но заменил другим стихом. Еще пару раз обком и Бродский поиграли в эту чехарду со стишками. И одобренная свыше подборка была, впервые на Осиной памяти, поставлена в номер.

Ося так расслабился, что стал, по своему обыкновению, напускать мрак и ужас. Подпустил что-то о сестрорецком кладбище, где скоро будет и он лежать, – это по поводу предстоящей ему в тамошней больнице операции геморроя. Так он заговаривал зубы своей, ни на какие компромиссы не идущей советской судьбе. Впрочем, перспектива сверления большого зуба также связывалась у него напрямую со смертной мукой. И в итоге – с кладбищем. Он вообще охотно и часто себя хоронил.

Короче, обком с КГБ на компромисс с публикацией Бродского пошли, а вот Осины коллеги – группа маститых и влиятельных поэтов – воспротивились бурно, хотя и приватно.

Поздним вечером в пустой «Авроре» собралась в экстренном порядке редколлегия молодежного журнала, средний возраст – 67, исключительно по поводу стихов Бродского, уже готовых в номер. Ретивые мастодонты раздолбали подборку за малую художественность и сознательное затемнение смысла. «Пижон! – ласково укоряла Вера Кетлинская. – Зачем

пишет «...в недалекое время, брюнет или блондин, появится дух мой, в двух лицах один?» Это же безграмотно: блондин-брюнет-шатен. Да разве и дух в волосах ходит?

Ему, сопляку, еще учиться и учиться. А сколько гонору! – и много смеялись над волосатым духом, не уловив простейшего метафорического парафраза. А если б и уловили, куражились еще больше. Ангел-демон-Бог – откуда у советского поэта религиозные позывы?

На публикацию Бродского в «Авроре» был наложен категорический запрет. Помню опрокинутое лицо партийной дамы Косаревой. Ну никак она не ожидала, что своя литературная братия окажется погромнее официальной.

Помню, как Ося приходил, растравляя обиду и скорбь, забрать стихи. Ему бы с большим удовольствием отослали почтой или с курьершей – жил он рядом. Но послесыльный Бродский уже не позволял, когда мог, топтать его глухо, под ковром. Тоскливое и скучное его лицо показывало, как далеко зашла в нем – последний раз в отечестве – надежда напечататься. Хотя бы и в ничтожной «Авроре».

Вот он выходит из отдела поэзии в коридор, где я его поджидаю и завлекаю в свой кабинет – объясниться. Он нехотя идет, садится на угол стола, обхватив себя, как бы ежась, руками – типичная у него неприязненная поза. Рассказываю, как Кетля задурила на блондина и брюнета, и вдруг скорби как не бывало: Ося как бы очнулся, сообразив, в какое болото попал.

И тут вошел, заняв собой всю дверь, Сережа Довлатов. Страшно оживился, увидев Бродского. Брякнул некстати: «Ага, и ты сюда ходишь!» Бродский вспыхнул, схватил со стола свою папку и был таков.

«Что такое, что с ним такое?» – удивился Довлатов и стал выпрашивать подробности.

Между ними тогда не было притяжения, скорее отталкивание. Довлатов был до мозга костей прозаик, Бродский – маниакально заиклен на стихах. К тому же у них были разные представления о художественном. И как ни пытается, после смерти Довлатова, Бродский, ратуя за первородство поэзии, возвысить Сережину прозу в ранг стиха, остается в силе пушкинское «общее место» по поводу их, поэзии и прозы, равноценной полярности: стихи и проза столь различны меж собой, как вода и камень, лед и пламень. Но это – к слову. Коли Бродский ушел, перехожу к Довлатову.

Кстати, больше Бродский стихи не носил в «Аврору». И вообще завязал с советским печатным словом. Ценил свое время и нервы. Довлатов продолжал, и даже с большей частотой, обивать пороги непреклонных редакций. Его упорство – уже десятилетнее, страдальческое, без проблеска надежды – походило на истерику. Когда в ответ на Сережины жалобы я приводила примеры редакционных мытарств Бродского, Наймана, Рейна, даже Высоцкого, стихи которого у нас рассыпали в верстке, Сережа всегда возражал: они – особый случай, они – со славой, он – рядовой писатель и в этом качестве должен иметь рутинный доступ к читателю. Это – говорю из Вяземского, с пренебрежением – «рядовое дарование». «Ни в коем случае, – возражал Сережа, – никакого пренебрежения, тем более – снижения. Примите за факт».

* * *

Никто из знакомых мне по «Авроре» пишущих людей – ни начинающий автор, ни тем более кончающий – не имел столь мизерного сознания своей авторской величины. Много позднее Довлатов, мучимый даже в Нью-Йорке тотальным непечатанием его на родине, нашел, как ему казалось, исчерпывающий ответ:

«Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели. Издавали прогрессивные книжки... Я мечтал опубликоваться в журнале „Юность“. Или в „Новом мире“. Короче, я мечтал опубликоваться где угодно. Я завалил редакции своими произведениями. И получил

не менее ста отказов. Это было странно. Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы... Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках... Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал – почему? И наконец понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует».

Возвращаюсь к Довлатову в Ленинграде. У него была любопытная для тех лет убежденность, что он со своей юморной прозой попадает в яблочко времени, что его заждался читатель, что его точно ждет успех – только бы напечатали. Невероятно, но при тотальном литературном ostracизме Довлатов ощутимо прозревал свой творческий прорыв, свою сиюминутную востребованность. Ведь юмор – самая животрепещущая из всех словесных штук. Такому самоощущению надо доверять, это – не суетное славострастие, скорее крутая убежденность мастера. Недаром он и стал супервостребованным писателем, правда – через много лет и посмертно. Короче, Довлатов изнывал по читателю. По массовому, всесоюзному. Элитного не ценил, не знал, ему не верил. Как писатель, он мог расти только с голоса. Как раз этого ему не позволяли.

Однажды я, утомившись отказывать, посоветовала ему оставить раз и навсегда надежду и, соответственно, стратегию (в его случае трудоемкую) напечататься в отечестве во что бы то ни стало и чего бы ни стоило. А стоило, говорю, многого. Большого, чем мог он вынести пристойно. Боялся, что время – его время – пройдет, так и не узнав любимого его. А в любви к нему сегодняшнего дня не сомневался. Знал свою цену, щедро отводил себе роль мухи-однодневки в текущей прозе. Тогда он страшно оскорбился, этот сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели, и процедил мне сквозь зубы, упирая на каждый слог: «Вы никогда не писали и потому не знаете, как дозарезу необходим иногда читатель». Его слова.

Его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского манифеста. Приблизительно так: я – писатель-середняк, упирающийся на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я – муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на этот день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Все равно что живым – в гроб.

Разумеется, я никогда и никому, тем более изнемогающему от непечатания Довлатову, не посоветовала бы писать в стол. Да еще – писать для себя, родимого, что похоже уже на творческую мастурбацию. Я сама в те годы писала – «в стол», вестимо, – редакционный роман под названием «Убежище», где действовал также и Довлатов и откуда я сейчас беру кое-какие факты и наблюдения. А тогда Сережа просто вымещал на мне, и довольно зло, свои литературные невзгоды. Вообще-то вспыльчивость, ожесточенность и подвывающая обида были как-то инородны корректному, иронически вежливому и даже вальяжному, умело обаяющему собеседника Довлатову. Все эти довлатовские аномалии – и крайнее его писательское уничтожение, включая горестные декларации, – пришлось на первый год его пылких заигрываний с непреклонной «Авророй». Уж очень много – целую гору! – ослепительных надежд он возлагал на новый молодежный, с ложной либеральной репутацией журнал. Соответственно, отрезвление и ощущение унылой безнадежности были горьки и травматичны.

* * *

Как только Довлатов смирился с «авроровским», ясно выраженным ему ostracизмом, наши, автор – редактор, отношения стали более дружескими. Все шло по-прежнему: Сережа приносил новую порцию рассказов, которые, как всегда, отвергались на уровне малого

начальства, и помню возмущенный втык мне за малую бдительность: «Вы что, не видите – Довлатов критикует армию!!!» Или такое: «Это писатель-алкоголик, и его герои сплошь алкаши – какой пример они показывают советской молодежи? Он что, призывает к тотальному спаиванию нашего народа?!» Ясно, что все новые попытки Довлатова напечататься в журнале будут пресекаться на корню. Автор – типичный непроходняк. Ходу ему никогда не будет. И, мне кажется, он это знал. Не мог не знать.

Но вот странность: в таких оскорбительных для любого автора обстоятельствах Довлатов не только не озлобился, он даже как бы утвердился в себе – прозаике-профессионале, имеющем желание и право войти в литературу с парадного хода. Что-то тут было странное, в этом ощущении себя нормальным писателем в нормальной литературной ситуации, – не могу сказать натужное, надрывное, но явно нереальное, принужденное, наигранное. Мне хотелось разгадать этот, учиненный Довлатовым разлад мечты с существенностью.

Нет, он не стал, получив столько крутых отказов, подальше обходить «Аврору». Наоборот, в 1971–1972 годах Сережа зачастил в редакцию с новыми рассказами. Он тогда очень много «работал в литературе» (настаивал на таком обороте). Говорил мне, предлагая очередную папку: «Вы не подумайте, что я одно и то же пишу – какие-то юморески. Нет, полноценные рассказы, оцените». Говорил, что все недоволен результатом, все ищет новую тональность, интонацию, меняет стиль, приемы, отрабатывает диалоги. Как-то сказал, что работает в импрессионистском стиле. Некоторые его рассказы я помню. Это была хорошая проза. Наглядно вызревало его мастерство. У него был пафос мастерства, но не было уверенности в себе мастера. Его шатало. Отсюда – бесконечный творческий поиск. Он не видел себя со стороны. Необходим был читатель. Невозможно самому смеяться с собой. Так можно и с катушек слететь. Очень даже можно – Сережа это знал.

Кто-то хорошо сказал: «Жанр, созданный Довлатовым, без читателя, и без читателя сочувствующего, немыслим». Но чтобы занять читателя, надо печататься, выходить на широкий рынок. Тупик. Или, по Довлатову, «исправное удушье».

Жаль, что Довлатову не довелось прочесть изданное совсем недавно и мало кому известное литературное интервью Бродского в Вене в первые дни после отъезда из СССР. Там высказывается – гениально просто – близкая Довлатову мысль, что, лишая пишущего человека печатного выхода, его потихоньку, но взаправду удушают как творческую личность.

В июне 1972 года Бродский говорил о группе поэтов, «которые могли бы сделать очень многое, но, кажется, уже поздно. Не то чтобы их съели – их не уничтожили, не убили, нет. Их, в общем, более или менее задушили. Им просто не давали выхода... пришлось искать свой собственный путь и быть своим единственным собственным судьей, никакой среды, никакой атмосферы... пока все это не перешло за грань...». Кто это? Уфлянд. Еремин. И даже андеграундные гении, «ахматовские сироты» – Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев. «Если бы им дать возможность работать нормально – это было бы замечательно, это было бы интересно, но я боюсь, что уже тоже too late... если бы была какая-то аудитория, была бы какая-то конкуренция, то, может быть, что-нибудь бы и вышло. А так, я думаю, они, в общем, все более или менее сходят с рельсов». Единственный путь, по мысли Бродского, творчески выжить, «и в конце концов, знаете, как: изящная словесность, вообще искусство – это такая вещь, которая, если только ты абсолютно одержимый человек, ты будешь заниматься ею, несмотря ни на какие обстоятельства».

Эти зоркие прогнозы Бродского были бы чрезвычайно важны для Довлатова, если бы он узнал о них в том, 1972 году. Но он все это знал и раньше, без Бродского, года на три-четыре раньше. Он тогда задумывался (ясно из текстов), как изгойно, писателем-невидимкой, выжить и не сломаться, не дать себя задушить, безостановочно и нормально (любимое тогда отрезвляющее слово) работая в официальной литературе, куда тебе вход напроць

закрыт. Как выжить в мире призраков без самоотвержения и психических срывов, без творческого рукоблудия (писать для себя), не сходя при этом с будничной житейской колеи. Как окружить себя литературной средой, вызвать к жизни читателей, критиков живую атмосферу. Задача не из легких, не в реальности поставленная и не в действительности разрешимая.

Но у прозаика Довлатова факт и вымысел взаимообратимы, спариваются легко. Он вообще из затейных авторов, никогда не гнушался выдумкой окрутить и, соответственно, исказить реал. К тому же он – по Бродскому и как сам Бродский – «абсолютно одержимый человек». Литература для него – единственная подлинная реальность, «дело всей жизни» и даже не дело, а сама его жизнь была литературой. Писательство – судьба, от которой никуда не деться.

Он мечтал стать профессиональным писателем, жить на гонорары. Он просто хотел работать в литературе. Это было неосуществимо. «Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно». «Ерунда» была немислимым, почти безумным притязанием. И тогда матерый выдумщик, талантливый мистификатор Довлатов пошел на колоссальный блеф.

Где-то, мне кажется в 68-м, он стал вести нормальную жизнь рядового профессионального писателя. Наметил наперед кой-какие перспективы, «свет в окошке». Добивался только официальной литературы, где печатали и издавали. Искал внимания и одобрения известных уважаемых писателей – для моральной поддержки. Это была виртуальная, фантазийная, химерическая жизнь. Но такое, исключительно литературное, существование на автопилоте позволяло не задыхнуться от безнадежности. Создал видимость и ощущение нормы – в жизни и в литературе – и строго придерживался этой нормы.

Вот как жил этот прозаик-профи, освоивший технику писания: нигде не служил, работал в многотиражке (тоже со словом, что было важно), был журналистом и «писал, писал, писал свои рассказы, писал старательно и честно», накапливал их, разносил по редакциям, вращался в литературной среде (необходимо нужно!), выслушивал разные мнения о своих рукописях и снова, лучше с утра, занимался литературой. Нормальная полноценная жизнь профессионального состоявшегося литератора. Тут требовалось много мужества, мощный волевой напор и адское терпение – чтобы достойно, не срываясь, эту вымышленную жизнь вести.

Лена Довлатова не могла не заметить ненормальность, грубую форсированность такого фиктивного существования: «А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок». Заметила неодобрительно, едко – и была по-житейски права. Но какой бы трагической и безысходной стала жизнь ее мужа, если бы воздушный шар его великой утопии вдруг лопнул (что и произошло в конце концов).

Я тоже уловила этот довлатовский – страдальческий, надо признать, – самообман, эту вынужденную мистификацию собственной жизни. Не так чтобы я выделительно следила за творчеством Довлатова. Просто не было в моей редакторской практике ни одного автора – ни даже графомана или халтурщика, – многократно отвергнутого «Авророй» и продолжающего как ни в чем не бывало регулярно, годами, приходить с новыми сочинениями без малейшей надежды их напечатать.

Тогда я и просекла этот колоссальный Сережин блеф. Поняла: этот жизнерадостный заскок в редакцию с очередной порцией прозы был необходимым ритуалом, имитирующим естественный ход жизни процветающего профессионального прозаика. Ведь это была попытка, надругательство над своим реальным жизнеощущением! Оттого он и пил – хоть как-то избыть эту муку притворной жизни: «Алкоголь на время примирял меня с действительностью». Потому что действительность, а не умышленность, насаждала, травмировала, мешала

работе. А работал Довлатов в режиме преуспевающего прозаика, востребованного, ну, скажем, не литературными чиновниками, а самой отечественной литературой, своим читателем, своим временем.

Результаты интенсивного самооболащивания были налицо: «роман, семь повестей, четыреста коротких вещей». Для воображаемого издательства у него «было шесть готовых сборников». Более того, Сережа подводил итоги своему пятнадцатилетнему творчеству: выделял «пору литературного становления, овладения ремеслом», период трудоемких, мучительных (поскольку в художественном вакууме) поисков стиля, тона, предельного лаконизма. И вот, наконец, достижение зрелости. И он знал, что пишет лучше других.

Я ушла из «Авроры» в конце 75-го. Захотелось узнать, как долго Сережа тянул этот изнурительный, самомучительный иллюзион, эту виртуальную жизнь на автопилоте. Заглянула в его «Невидимую книгу» и читаю за 76-й год: регулярно «ходил в «Детгиз», «Аврору», «Советский писатель». Там исправно душили меня». Думаю, что и в 77-м он продолжал ритуально обивать пороги ленинградских редакций. Но уже машинально, бессознательно, как зомби. Потому что мечтательно сооруженная им – над реальностью – жизнеутверждающая надстройка рухнула с треском. Воздушный шар его поддельного существования прокололся. Виртуальная, кое-как поддерживающая его писательство жизнь улетучилась. Он «устал изворачиваться». Утратил навык на ложные перспективы, «пусть и туманные», уже не различал иллюзорный «свет в неведомом окошке». И тогда узнал страшную цену подмены мечтой существенности. «Круг замкнулся. И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал».

Тогда и раздались эти вопли, эти жалобы, этот плач «литературного неудачника» над своим непризнанным даром:

«За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!»

«Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом!»

Куда девалось его хваленое стилистическое хладнокровие – перед лицом литературного и жизненного краха! Не напоминают ли вам эти довлатовские стенания плач Акакия Акакиевича над своей украденной шинелью? И как незабвенный Башмачкин, Довлатов тоже отомстил своим мучителям, и тоже посмертно.

До конца жизни Сережа изживал свое травматическое литературное прошлое – «15 лет бессмысленных страданий!» – а история неудачных попыток напечататься на родине стала едва ли не главным сюжетом его прозы.

Остается сообщить еще об одном, оскорбительном для писательского самочувствия Довлатова, эпизоде.

Весной 1975-го Довлатов зачастил в «Аврору». Это была чисто волевая, на последнем отчаянии осада советской печатной крепости. Рукописи Сережа держал в таких очень изящных, даже щегольских папках. Ручной работы. Он приносил эти папочки, и я их, поскольку издать это было невозможно, очень аккуратно складывала в шкаф для отказов. Как сейчас вижу: нижняя полка шкафа, и там такая стопка папок, а наверху надпись от руки, от моей руки, – вернуть Сергею Довлатову.

Сережа суеверно за рукописями не приходил. Последнее его приношение, к счастью, лежало у меня в столе. Как раз в это время в отделе прозы появился новый заведующий – Вильям Козлов. Человек глубоко невежественный и склонный к моментальным, без всяких сомнений, поступкам. В свой первый рабочий день Козлов заявился в редакцию рано утром, и вскоре туда забежала ватага пионеров за макулатурой. Страна переживала очередной бумажный кризис. И кто-то, видно в райкоме, дал пионерам наводку на «Аврору» как такой резервуар макулатуры. Секунды не подумав, Козлов пригласил их в отдел прозы и предложил весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки.

Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел наконец за рукописями. Были там гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика. Как будто все, что он делал эти годы, уничтожено и никому не нужно. Перерезано. И он снова становился начинающим писателем.

Таллин: бросок на ближний Запад

Начинающим писателем он поехал в Таллин. Никому там не был известен. Попал в Эстонию случайно. Главное для него тогда было – рвануть из Ленинграда, где в силу сцепления негативных обстоятельств ему стало беспросветно и удушливо. Без метафоры и без гиперболы, как пояснял позднее Сережа, просто нечем дышать.

В повести «Ремесло» Довлатов пишет об этом своем внезапном броске на ближний Запад бесстрастно и скупно:

«Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?.. Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности».

Он отрицал в прозе слишком сильные отрицательные эмоции. Равно как и положительные, но их ему на жизнь перепало не так много. Так мало, что он счел необходимым – для душевного баланса – изобретать их, форсировать, да попросту измышлять. Вот как он пишет об этой самотерапии «призраком счастья»:

«В чем причина моей тоски? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья».

Он был настолько обделен дарами счастья и хорошо это знал о себе, что однажды воспринял как откровение мое сообщение о том, что если поставить губы в позицию улыбки, то чисто рефлекторно человек испытает прилив радости. Или даже небольшой душевный подъем. И чем проникновенней, с большим распылом выйдет улыбка, тем сильнее прихлынет эта даровая, поддельная радость. И Сережа тут же испытал рефлекторную реакцию нервов на нескольких разных улыбках. Но я отвлеклась от Довлатова в Таллине.

Тогда, перед Таллином, ситуация сложилась для многотерпеливого Сережи настолько травматическая, да попросту убойная, что он, по личному признанию, был близок к помешательству. Рывок в Таллин – и он пришел в себя. Трезво оглядел окрестности. Это была спасительная – на мощном у него тогда инстинкте выживания – авантюра. Он начинал все с начала. Но и за спиной его питерской жизни был нуль достижений. Как-то в «Авроре» я привела ему латинскую формулу *nullo numero homo* – нулевой человек, то есть полное ничтожество. Сережа мгновенно сказал: это я. К слову о его питерском самочувствии.

Поэтому начинал он в Таллине кропотливо, с большим запасом терпения, готовясь к обычным советским мытарствам. Пустил в ход свой обаятельный дар налаживать знакомства, контакты, полезные и опасные связи, любовь и вражду. Никакой стратегии у него на тамошний отсек Союза писателей не было. Он даже не надеялся печатно обустроить свое авторство. Начинать с газетной халтуры. Его писательство было так унижено и оскорблено, что он, по свидетельству его эстонской подруги, придумал термин «автор текста», считая, что называть себя «прозаик», слишком заносчиво.

Но все это – в самом начале. А потом подул, впервые в Сережиной авторской судьбе, попутный ветер. Появилась возможность издать первую книгу. И вероятность стать членом Союза писателей. Положительная, внутри издательства, рецензия на рассказы. Подписание договора. И все это – в крайние смешные сроки. Никаких многолетних советских мытарств. Гранки, вторая корректура. Это была какая-то волшебная феерия успеха. Попутный ветер дул не переставая почти до самого конца.

В «Авроре» о Довлатове не вспоминали. Заметив, что в почте нет его рассказов, я поинтересовалась, что с ним. Кто-то мило пошутил, что Довлатов попросил политическое убежище в Эстонии, стал эстонцем, женился на эстонке и вообще обуржуазился вполне по-эстонски. Одним словом, процветает.

Затем, с большим промежутком, восторженно-завистливый гул: выпускает сразу две книжки – взрослую и детскую, – метит в ихний Союз писателей. И все. Больше о Довлатове – ни звука. Что обе книжки были зарублены на стадии верстки местным КГБ, я узнала случайно именно в Таллине и при самых мрачных обстоятельствах.

Кажется, в марте и точно в 1975 году «Аврора» вместе со своим авторским активом отправилась пропагандировать себя в соседний Таллин. Эстонское мероприятие называлось так – «У нас в гостях журнал „Аврора“». Собственно, знакомство «Авроры» с русскими писателями Эстонии состоялось давно. У меня – всегда под рукой на случай цензурного выброса в самый последний момент – хранились две папки: одна с переводными рассказами западных классиков, другая – с рассказами русских эстонцев. В отличие от питерских авторов, которых цензура все больше браковала, эстонские авторы писали патриотично, лирично и серо. То, что надо.

Нас поселили в шикарную гостиницу. В холле с живым кустарником, дорической колоннадой и купольным потолком можно было гулять, как в саду. Экзотические напитки с соломинками в бокалах отпускались неограниченно и безвозмездно. Было волнующее ощущение заграницы. Потом выступали ленинградские и таллинские авторы «Авроры», читали стихи, рассказы, юморески. Сидя за столом на сцене, я искала в зале бывшего ленинградца, а теперь преуспевающего таллинца Сережу Довлатова. Ну не мог он не прийти на встречу с «Авророй», с питерскими друзьями и коллегами. Но Довлатова нигде не было.

После выступлений мы с поэтом Сашей Кушнером прогуливались по Таллину, и вдруг он говорит: «А сейчас я вам покажу что-то очень любопытное».

Несколько слов о моем спутнике. Кушнер тогда крепчал как советский поэт. С отъездом Бродского стал своего рода анти-Бродским: тоже еврей, тоже интеллигент, тоже неофициозный поэт. А вот ни он не мешает советской власти, ни она ему. Регулярные публикации в журналах и сборники стихов, союзписательские льготы и привилегии. Такова была точка зрения на него властей. А его собственная? Мирное и даже с оттенком лиризма сосуществование литературы и власти. В России можно жить, жить можно только в ней, в ней нужно жить и можно печататься.

При такой, с сердечным позывом, лояльности и ненавязчивом, а главное – абсолютно искреннем, сервилизме Кушнер был поэтом на все времена. Его душевный конформизм обеспечивал ему вполне комфортное существование при всех режимах – и в житейском плане, и в творчестве. Он к этому благополучию привык и свое редкое литературное везение считал за норму.

Лично мне и в голову не пришло бы в те дальние годы упрекнуть Сашу Кушнера в ловком приспособленчестве, которое к тому же как-то органично увязывалось с его неприязненным – всегда на изживении у русской классической музыки – талантом.

Но полюбовно примирительное решение Кушнером всегда крутого на Руси конфликта «поэт и власть» было уязвимо. Годилось на одноразовое – лично для Кушнера – применение. И было подвергнуто разносной критике со стороны той части творческой интеллигенции, которая не нашла этого паллиативного пути и вынуждена была вступить в конфронтацию с властями либо покинуть страну.

К сожалению, Кушнер считал нужным защищать свою поэтическую крепость. Это была какая-то оргия самооправданий. Своим критикам он предъявлял доказательства от противного, которых было навалом в стране, а несколько наглядных примеров имелось и в Питере. Вот чем кончилось у тех, кто пытался, в обход государства, создать непечатную литературу:

их ждет либо тюрьма, как Марамзина, либо высылка, как Бродского, а там уже творческий упадок (чему примером все доходящие из-за бугра стихи того же Бродского), либо призрачное существование литературного андеграунда. Либо... именно в Таллине, где мы прогуливались с Сашей Кушнером, находился тогда важный для него контраргумент в споре с теми, кто упрекал его в сервильизме.

И вот он предложил мне что-то очень любопытное – с видом заговорщика, с азартным огоньком в глазах. Я не знала, что это была его тайна. Предвкушала изящно сюрпризное – что-нибудь в таллинском стиле.

Пару слов обо мне. По сугубой нужде контекста. Я тогда довольно часто выступала с литературной критикой в «Новом мире», «Литературном обозрении», «Звезде», «Неве» и т. д. В издательстве «Советский писатель» только что одобрили в печать мою книгу о Пришвине, но в конце концов зарубили. Саша тогда прислушивался к моим литературным оценкам. Мы с ним прохладно дружили. Мы вышли из старинного центра Таллина, архитектура становилась скучней – все менее эстонской, все более окраинно советской. Тревожное ощущение заграницы – всегда его испытывала в Таллине – пропало. Вот и дом, совершенно ускользнувший из памяти, вот темная и пахучая – заскорузлым жильем – лестница. Мне неловко – без приглашения в чужой домашний интим. Ничего, успокаивал Саша, меня здесь знают, всё удобно.

На пороге – молодая женщина, которую не помню совсем. Да и никто меня с ней не знал. (Оказалась Сережиной герлфрендой, у которой он жил.) Помню, мы вошли в большую просторную комнату, и в углу – по диагонали от входа – сидел на полу Довлатов. Человек, убитый наповал. Но живущий еще из-за крепости своих могучих, воистину былинных, Богом отпущенных ему лет на сто хорошей жизни физических сил.

Он сидел на полу, широко расставив ноги, как Гулливер с известной картинки, а перед ним – как-то очень ладно составленные в ряд шеренги бутылок. На глаз – около ста. Может быть, больше ста – винных, водочных и, кажется, даже коньячных. Неизвестно, сколько времени он пил – может быть, две недели. Это было страшное зрелище. Я и сейчас вспоминаю его с дрожью. Во-первых, невозможно столько выпить – фактически, весь винно-водочный погребок средней руки – и остаться живым. А во-вторых, передо мной сидел не алкоголик, конечно. Передо мной – в нелепой позе поверженного Гулливера – сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни. И алкоголизм – все эти бутылки – был самым адекватным выражением этой катастрофы его жизни: его писательской жизни – иной Довлатов для себя не разумел.

Тягостно было смотреть, как он – еще на полпути к сознанию – силился вникнуть в Саши Кушнера расспросы, да еще держать при том достойный стиль. Было его ужасно, дико жаль. Мне казалось, иного – не сочувственного – отклика на этот крах всех надежд и быть не могло.

Потому так поразила меня реакция Кушнера: торжество победителя. Он откровенно веселился над фигурой Довлатова у разбитого корыта писательской судьбы. И хихикал всю обратную дорогу. Был отвратителен. И этого не понимал совсем.

* * *

Любопытно, что эстонский кульбит Довлатова повторил буквально – ход в ход – через семь лет писатель Михаил Веллер. Буквально, но не в пример Довлатову хеппи-эндно. Ему, как и Довлатову, ничего не светило в Ленинграде, откуда он отбыл – в довлатовском возрасте 31 года – в Таллин. С единственной целью издать там, по стопам Довлатова, свою первую книгу. В Таллине получил, как и Довлатов, штатную должность в той же, что и Довлатов, газете. Но, в отличие от своего предтечи, Веллеру удалось выпустить книжку в таллинском

издательстве и стать членом Союза писателей. Ко всему прочему, Довлатову еще редкостно, стервозно не везло.

Веллер долгое время жил в Таллине, городе его золотой мечты, и даже награжден эстонским орденом Белой звезды. Очень живо и свежо ненавидел давнего покойника Довлатова. Это нормально для невольного эпигона.

Дико соблазняет проиграть Сережину судьбу по Веллеру. С эстонским хеппи-эндом. Ведь он мог, вполне мог, вкусив печатного счастья, остаться в Таллине навсегда, как Веллер. И – никаких Америк. Какой бы вышел тогда из него, интересно, писатель?

Однако после всех этих авторских бедствий и неудачной – опять же литературной – эмиграции в Эстонию Довлатову ничего не оставалось, как эмигрировать по-настоящему – в Америку.

* * *

Как он до смерти страшился эмиграции, тянул до последней, крайней неизбежности! Уже уехали Бродский, Марамзин, Виньковецкий, Лосев, Ефимов, Соловьев с Клепиковой – да не счесть! Давно уехала первая любовь Ася Пекуровская, «нетривиальная подруга» Люда Штерн, вот-вот отчальят жена с дочерью, а Сережа все тянул, все прожектировал свою дальнейшую творческую жизнь на родине. Он, кому дивной музыкой звучали слова «русская литература», «изысканная словесность», он, воскликнувший «Какое счастье! Я знаю русский алфавит!», не мог и не хотел представить себе неизбежный при эмиграции переход на чужой язык. «На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит».

Еще больше он ужасался словесным утратам, неминуемому обеднению, ущербности своего писательства. Он был чародей-словесник, истинное «дитя слова», умел словить на ходу, «за углом любого кабака», очередную словесную находку: «Слова – моя профессия». Приобретение свободы на Западе не оправдывало в его глазах несчетных творческих потерь. А он терял прежде всего кормовую базу своей прозы – «мой язык, мой народ, мою безумную страну...».

Так он пишет в «Заповеднике», приписывая свои заветные мысли и чувства авторскому персонажу, который конечно же не один к одному с самим автором, но в главном совпадает, а потому продолжим цитацию.

К грядущим утратам в эмиграции Довлатов причислял и «своего читателя», массового русского читателя, которого у него в жизни никогда не было. И здесь, в перепалке с женой, убеждающей его эмигрировать вместе с ней, автогерой делает потрясающее предвидение своей грядущей – через много лет – популярности на родине. Это стоит привести:

– Но здесь мои читатели. А там... Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?

– А здесь кому они нужны? Официантке из «Лукоморья», которая даже меню не читает?

– Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются.

– Так будет всегда.

– Ошибаешься.

Эмигрировать все-таки пришлось. И что он там потерял, а что нашел, расскажет следующая главка.

Нью-Йорк: дебют – триумф – смерть

В Америку приехал начинающий снова писатель. Он получил здесь то, что никогда не пробовал, даже не знал на вкус, – неограниченную творческую свободу. Понравилось

чрезвычайно. Оказалось, что в его случае – это первое условие, залог и гарант настоящей творческой удачи. Только в Америке Довлатов узнал наконец и правильно понял себя – свою авторскую потенцию, запросы, вкусы, цели, фобии и притязания, ведь до сих пор он был совершенно непритязательным автором, о чем не раз писал. В своем ремесле он был приверженцем литературного блеска. Так сказал о себе Валерий Попов, который тогда, возможно, писал не хуже Довлатова, но бросил эту тяжкую стезю и стал многоводным реалистом. Довлатов был верен блеску до конца.

В Нью-Йорке он, как и в Таллине, приготовился начать с нуля. Уехал в эмиграцию с горя, с отчаяния, износив до дыр и умертвив наконец свою патологически живучую надежду напечататься на родине. На Америку надежд не набежало – он утратил способность к их производству. Уехал, как мотылек летит из тьмы на любой источник света.

Первый год в Нью-Йорке производил впечатление оглушенного – в смуте, в тревоге, но без отчаяния. О литературе не помышлял. Не знал и не видел, с какого боку к ней здесь подступиться. Пытался трудоустроиться вне литературы. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене, реквизируя у жены на расплав в сырье серебряные кольца и браслет. Стоически убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что руки его отлично приспособлены к микропредметному ремеслу, что это у него от Бога и хватит на жизнь. Чуть позже Сережа загорелся на сильно денежную, по его словам, работу швейцара – в пунцовом мундире с галунами – в роскошном отеле Манхэттена. Говорил, что исключительно приспособлен – ростом, статью и мордой – для этой должности. Что кто-то из очень влиятельных русских обещался ее достать по блату. Что он уже освоил по-английски весь словарный запас учтивого швейцара: «Эй, такси!», «Позвольте подсадить», «Ваши чемоданы!», «Премного благодарен». И что-то еще из низменных профессий он на полном серьезе осваивал.

Эта – на целый год – заминка в дельной ориентации случилась из-за его совковых предрассудков. Тот год он прожил в Нью-Йорке как окончательно заблудившийся человек, но с точным знанием, в какую сторону ему надо выбираться. В Союзе Сережа добивался официального признания своего писательства. Издательства, журналы, газеты, которых он воздел так же сильно и столь же безнадежно, как землемер у Кафки свой Замок, были государственными институтами – на государственном обеспечении и режиме работы.

В русском Нью-Йорке Довлатов таких учреждений не нашел и, приняв за неизбежность, смирился.

Что печатный орган может возникнуть из частной инициативы, из личных усилий, пришло как откровение. Не всегда радостное. Долго еще, готовя в печать свои домодельные книжки-тетрадки, со своими рисунками, дизайном, набором, в бумажных обложках и ничтожным тиражом, Довлатов сокрушался по недоступным ему советским типографиям с их высоким профессионализмом, громадными тиражами и щедрыми гонорарами. Участь советских писателей на дотациях у вельферного государства была ему завидна. Но постепенно – особенно в связи с американским успехом – эти сожаления ушли. Хотя все свои книги он издавал в убыток. И широко раздаривал друзьям.

Короче, именно в эмиграции, в русской колонии Нью-Йорка, питерский американец Довлатов стал крепким писателем с хорошо различимой авторской физиономией. Он уже не называл себя «рядовым писателем». Он притязал на большее. Он был словарный пурист, он сжимал фразу до предельно выразительной энергетике, был скуп со словами, укрощал их, запугивал – ни одно не смело поменять свое место в тексте. При этом в его рассказах легко и просторно, как в хорошо начищенной паркетной зале. Это была та самая изящная и даже изысканная беллетристика, которой так стращали писателей в советские времена. Трудно ему было с сюжетом. Случалось, связывать обрывки анекдотом, причем портативным, переносным – из рассказа в рассказ. Но в основном он был здесь в хорошей писательской форме.

Оглядываясь сейчас на Довлатова в Нью-Йорке, дивишься его изобретательской энергии, его экспрессивной затейности, его совершенно недоходной, но бурной предприимчивости. Он подбил здешних журналистов и литераторов на массу убыточных изданий – от «Нового американца» до «Русского плейбоя». Попутно были другие, довольно трудоемкие затеи. Вроде устного журнала «Берег».

К своим литературным начинаниям Довлатов привлекал эмигрантов, живущих разобщенно – надомниками – в разных углах Нью-Йорка. Вокруг него всегда клубился народ. Он любил сталкивать и стравлять людей, высекая сильные чувства и яркие реакции. Всеми силами и приемами, не заботясь об этике, Довлатов добивался расцветить «тусклый литературный пейзаж русского Нью-Йорка» – кормовую базу его эмигрантской прозы. Совершенно сознательно он обеспечивал себя литературной средой, без которой – он это твердо знал – писателя не существует.

О себе, о своей «рядовой, честной, единственной склонности» Довлатов действительно знал все. Знал, например, что не сможет сделать длинную вещь. Что склонен к человеческой экзотике, к маскарадным характерам. Что его психологизация – условная, игровая, летучая, не закрепленная в персонаже. И что все это, вместе взятое, не порок, а свойство его писательского мастерства, личная мета.

Он также знал и часто повторял, что человек, тем паче писатель, стоит столько, во сколько сам себя ценит. И в нью-йоркские годы, когда Довлатов-писатель окончательно состоялся, он приложил немало усилий на выработку у своей прозы этой достойной, уверенной, без тени сомнения или слабости, осанки. Которая есть точный знак нажитого мастерства.

Вспоминаю, что Довлатов говорил о своем ремесле. Потому он не употребляет мата и непристой, как Юз Алешковский с избытком, к примеру, что это не функциональные слова, а декоративные, вычурные, выпренные, слишком нарядные, красивые наоборот – такое словесное барокко. А у него в текстах всякое слово, междометия включая, – на строгом производственном отчете и учете. И – никакого выпендрежа, тем более описательных пустот.

Говорил, что у него – как в писательстве, так и в жизни – нет совсем воображения. Ну абсолютно всегда должен держаться за землю. Оттого, возможно, что эта вот земля – все зримое, тривиальное, будничное, прямо перед глазами поставленное – ему безумно и единственно что интересно. Зачем еще выдумывать?

Ему была невнятна – ну просто ни с какого боку – любая фантастика, включая научную, и всякие построенные на усилении боевики, триллеры и детективы: «Мне совершенно безразлично, кто кого и зачем убил. Сама постановка вопроса непостижима».

Не любил в прозе – как и в стихах – высокого и умного. Говорил, что писатель не создает сознательно высокое искусство. Что если он работает с такой установкой, то результат будет художественно ущербный – не на высоте писательских претензий. Это – в огороде Бродского, которого Сережа тогда побаивался, считал влиятельным литературным вельможей, зависел от его, Бродского, милостей, отпускаемых Сереже скупой, тугой и оскорбительной. Довлатов был так подавлен, а скорее затравлен, авторитарностью Бродского, что при случае выпаливал как клятву: он – гений, классик, идолище, лучший из русских поэтов, критиковать его не смею и, чтобы не было позыва, книг его последних не читаю вовсе.

Но, конечно, примириться или принять за норму литературный деспотизм Бродского Сережа не мог – хотя бы из юмора – и, случалось, бунтовал – напрямую или, чаще, вприглядку. Помню очень смешную сценку у нас дома, когда Сережа с упоением и священным ужасом внимал, как я рискнула «дать по шапке гению» (его слова).

Говорили о наклоне Бродского в прозе рассуждать наугад, наобум и в лоб, прикрываясь тоновой спесью и крутостью стиля. Я не могла простить ему оплошной фразы – а их десятки! – что по России, как и в жестковатом семействе Бродских, плачут редко.

Я возражала: кабы так, другая бы жизнь была у страны – порезвей, добыточней, умственней. А так – вся морда России в слезах. Слезы очень расслабляют нацию – до полного изнеможения. Особенно в 50-е годы – как их должен был помнить мальчиком Бродский, – когда отходили от шока войны и массовых казней. И вот зашлась, захлюпала вся нация, со всеми своими нацменьшинствами и невзирая на их темпераменты и разные нравы. Так оттаивает стекло после снежных и крутых морозов.

Плачу и рыдаю, и захожусь в плаче, и уже не хочу перестать, такая экзальтация рыданий, а потом бурные всхлипы и икота на полчаса – до упадка сил и потери сознания. Это нервы гудят и воют у тронутой России – как провода под токами высокой частоты. Куда ни глянь, по улице, в квартире, на природе – всюду слезоточивый настрой, у мужиков и баб едино.

Готовность к плачу в народе моментальна, и повод нужен самый ничтожный – чем радостнее, тем рыдательней. При радости, от дуновения счастья особенно обильно льются российские слезы, до истерики. Не унять, как ни старайся, ни кривись.

Мужчины плачут тайком и втихомолку. Женщины в России плачут в охотку и не таясь. Как рыбы в воде, в рыдательной стихии отечества.

Всего этого, лезущего в глаза и в душу, Бродский не схватывал: «Я, Боже, глуховат. Я, Боже, слеповат». В стихах не врал почти никогда.

«Еще!» – инфантильно потребовал Сережа, когда я наконец иссякла. Он был услан критикой Бродского. Не из злорадства, конечно. Он ликовал, когда элементарные нормы литературного общежития, попранные Бродским, были хотя бы частично и мимолетно, но восстановлены. Это как бы отлаживало систему мер и веса в Сережиной пунктуальной душе.

Бродский эмигрантскую публику – единственный тогда Сережин читательский контингент – третировал. Поставил себя безусловно вне критики и даже обсуждения. Так замордовал читателя-соотчика, что тот и пикнуть невольно страшился. Впадал и в жилу было: корифей-титан-кумир. В ином для себя контексте Бродский в дискурс не вступал.

Мы его шутя звали генералиссимусом русской поэзии. Он любил раздавать генеральские чины своим поэзосоратникам и однопоколенникам. Имитируя славу Пушкина и его плеядников. В стихах был аристократом. В стратегии и тактике по добыванию славы и деньжат – плебей и жлоб. Что не могло не сказаться и на стихах.

* * *

Что еще мне тогда хотелось сказать о Бродском? Точнее – самому Бродскому. Как много раз бывало в Ленинграде, и он выслушивал – однажды целую ночь напролет в его комнате, с Соловьевым и Кушнером, – внимательно и охотно.

А вот что.

Стихи он писал в России. В Америке – обеспечивал им гениальное авторство, мировую славу, нобелевский статус. Иными словами, в России закончилась его поэтическая судьба. За границей он стал судьбу делать сам.

Канонизировался в классики. Возвращивал у себя на Мортон-стрит лавровое деревце на венок от Нобеля. Сооружал пьедесталы для памятников себе. Страдал неодолимой статуейностью. Дал понять современникам и потомкам, что мрамор предпочтительнее бронзы.

Эстетичней и долговечней. Это когда побывал в Риме и прикинул на себя статую римского императора. Тотчас признался в стихах, что чувствует мрамор в жилах.

Все это ужасно смешно.

«Я этого не слышал! – выкрикивал Сережа с наигранным ужасом. – Я ухожу. Я уже ушел!»

Вот так мы с ним однажды, незадолго до его смерти, поговорили.

Несмотря на грандиозные запои, из которых выползал со все большими потерями для здоровья, Сережа о смерти не помышлял. Просто не держал в уме. Смерть не входила в круг его интересов, размышлений и планов. Исключая последние три месяца жизни. Он мог говорить, что из следующего запоя не выкарабкается, он собирал и пристраивал свой литературный архив, но в глубине души и до мозга костей в смерть для себя не верил. Или запретил ее для себя даже в предположении. Часто прикидывал старость. Заботился ее обеспечить. К смерти, к мертвому у него была резко эстетическая неприязнь. Мертвого – друга, приятеля, родственника – он сразу отметал. Как-то глумливо самоутверждался на смерти ровесников. Чужая смерть давала ему допинг на жизнь.

Сережа был фанатом – и в работе, и в жизни – настоящего протяженного. Отсюда – выпуклый, животрепещущий сюр его рассказов. В жизнь это вносило привкус сиюминутной вечности. Довлатов принадлежал к числу тех жизнеодержимых людей, которые, взглянув на старинную картину, гравюру или фотографию с людьми, тут же воскликнут: все – мертвецы.

Интенсивно, в упор переживая настоящее, Сережа не интересовался будущим временем. Говорил, что будущее для него – это завтра, в крайнем случае – послезавтра. Дальше не заглядывал. Прошедшее его не угрызало – он отправлялся туда исключительно по писательской нужде. Был равнодушен к памяти – она его не жгла.

Он также был не большой охотник кота назад прогуливать. В пережитое наведовался только по делу, за конкретностью, которой был фанатик.

Раз заходит ко мне Сережа с необычным для него предложением – вместе вспомнить старое. Не из сентиментальности, а для работы. Что-то заело в его фактографе из 50-х годов. Давняя конкретность ускользала. Вот он и предложил прогуляться по словарю вспять – до вещного мира нашего детства.

Были извлечены из 35-летней могилы чернильницы-непроливашки в школьных партах, промокашки, вставочки и лучшие номерные перья. Обдирочный хлеб, толокно, грушевый крушон и сливовый «Спотыкач» (Сережа не вспомнил), песочное кольцо, слойки и груша бере зимняя Мичурина. Среди прочего – чулки фильдекосовые и фильдеперсовые, трикотажные кальсоны с начесом и с гульфиком – в бежевых ходили по квартире и принимали гостей. Как в лагере выкладывали линейку еловыми шишками. Вечерние рыдания пионерского горна: spaать, spaать по па-лааа-там.

И тут моя память переплюнула Сережину. Забжевав по привычке в кондитерский магазин, я там уцепила – среди киевской помадки, подушечек в сахаре, всевозможных тянучек, ирисок и сосулук, в соседстве с жестянками монпансье, на самом дальнем краю детства, – крохотный, сработанный под спичечный коробок. Драже «Октябрыта» – белые и розовые, со сладкой водичкой внутри и тусклой этикеткой хохочущих октябрат. Кажется, это был первый послевоенный выпуск карамели с жидким наполнением. Во всяком случае, тогда открытие этих драже было для меня сладким откровением. Как позднее – от природы, книги или музыки. Сережа «Октябрат» не помнил, да и не знал. Но был дико уязвлен – он забыл само слово «драже».

Свой писательский эгоцентризм Довлатов постепенно – не имея долгое время печатного исхода – развил до истовости, до чистого маньячества. Он считал, например, что счастливо ограничен для своего единственного призвания. Как пчела, он обрабатывал только те цветы, с которых мог собрать продуктивный – в свои рассказы – мед. Остальные цветы на пестром лугу жизни он игнорировал. То есть поначалу он, пестуя в себе писателя, по-рахметовски давил иные, посторонние главному делу, интересы и пристрастия, а затем уже и не имел их. И, освободившись от лишнего груза, счел себя идеальным инструментом писательства. На самом деле он был прикован к своей мечте, как колодник к цепям. С той разницей, что свои цепи он любил и лелеял.

Довлатов не понимал страсти к путешествиям, к ближним и дальним странствиям, да просто к перемене мест. Он клеймил такие, чуждые ему порывы с брезгливостью: «Туризм – жизнедеятельность праздных». То, что он не понимал, он отрицал.

Отрицал музеи, любовь и тягу к природе, само понятие живописности. Был равнодушен к старому Петербургу, белым ночам и пушкинским местам. Бедность в разбросе интересов Довлатов почитал своей силой, несомненным преимуществом над коллегами, вожаками не только писательства.

Многосторонность интересов, влечений и отвлечений в писателе Довлатов осуждал как слабость или даже как профессиональный порок. В самом деле, его автогерой в прозе – тоже писатель – удивительно самодостаточен и плотно набит всякой жизнью. Сам же автор паниковал и мучился – не имея куда отступить – в моменты рабочего простоя или кризиса. Зона его уязвимости была необычайно велика.

Не стоит прижимать писателя к его авторскому персонажу. Они не близнецы и даже не близкие родственники, пусть анкетные данные у них совпадают точка в точку. У довлатовского автогероя – легкий покладистый характер, у него иммунитет против жизненных дрызг и трагедий, он относится с терпимой иронией к себе и сочувственным юмором к людям, у него вообще – огромный запас терпимости, и среди житейского абсурда – то нелепого, то смешного, то симпатичного – ему живется, в общем, не худо.

Но оттого герою в рассказах живется легко и смешливо, что сам автор в реальной жизни склонен к мраку, пессимизму и отчаянию. Литература, которой Довлатов жил, не была для него – как для очень многих писателей – отдушиной, куда сбросить тяжкое, стыдное, мучительное, непереносимое – и освободиться. Не было у него под рукой этой спасительной лазейки.

Я помню Сережу угрюмым, мрачным, сосредоточенным на своем горе, которому не давал не то чтобы излиться, но даже выглянуть наружу. Помню типично довлатовскую хмурю улыбку – в ответ на мои неуклюжие попытки его расшевелить. Особенно тяжело ему приходилось в тот год перед последним в его жизни 24 августа. Вернувшись из перестроечной Москвы с чудесными вестями, я первым делом отправилась к Сереже его обрадовать: в редакциях о нем спрашивают, хотят печатать, кто-то из маститых отозвался с восторгом.

Сережа был безучастен. Радости не было. Его уже не радовали ни здешние, ни тамошние публикации, ни его невероятное регулярное авторство в «Нью-Йоркере», ни переводные издания его книг. Он говорил: «Слишком поздно». Все, о чем он мечтал, чего так душедробительно добивался, к нему пришло. Но слишком поздно. Даже сын у него родился, которого вымечтал после двух или трех разноматочных дочерей. И на этот мой безусловный довод к радости Довлатов, Колю обожавший, сурово ответил: «Слишком поздно». Дело в том, думала я, что за долгие годы непечатания и мыканья по советским редакциям у Сережи скопилось слишком много отрицательных эмоций. И буквально ни одной положительной. Если принять во внимание его одну, но пламенную страсть на всю жизнь – к литературе. И те клетки в его организме, что ведают радостью, просто отмерли. Вот он и отравился этим негативным сплошняком.

Причин для безрадостности в тот последний Сережин год было много: и радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и, как следствие, его запой на жутком фоне необычайно знойного, даже по нью-йоркским меркам, того лета. Что скрывать – у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось, как он хотел. У него вообще не писалось.

Он наконец уперся в эмигрантский тупик: ему больше не о чем было писать. А писать для американцев, как ему злорадно советовали завистливые друзья-враги, было просто тошно. Да и несбыточно. Была исчерпанность материала, сюжетов – не только литературных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы – попытка уйти, хоть на

время, из этого тупика, в котором он бился и бился. Очень тяжело ему было перед смертью. Смерть, хотя и внезапная и случайная, не захватила его совсем врасплох.

Я часто думаю: как жестоко, беспощадно, с однообразной неумолимостью распорядилась им судьба! И как чудовищно несправедливо. Не о его преждевременной, случайной и страшной смерти я думаю. Хотя зловещий парадокс смерти в машине «скорой помощи», где Сережу умертвили, а не спасли, точит, мучит до сих пор. Нет, я не об этом, неминуемом. Но различаю какую-то потустороннюю язвительность, издевку судьбы в его посмертной литературной невероятной славе. Довлатов мечтал, опубликовав все лучшее, что написал, произвестить сенсацию в русскоязычной эмиграции. И трезво отметил:

«Но сенсации не произошло и не произойдет». Если бы он знал, если бы только ему дано было узнать, какая общенародная гремучая слава уготована была ему в России! Что его заждался и возвел в культ тот самый массовый читатель, которого он когда-то провидчески себе предсказал.

Но только через год – всего лишь год! – после смерти Довлатова в России начали одна за другой выходить его книги. Он превратился в культовую фигуру. Достиг максимальной известности, о которой даже не мечтал, даже вообразить не мог. Но так об этом и не узнал. Вся его писательская слава и звездная репутация – посмертные.

Почему я так часто вспоминаю Довлатова? Да потому, вестимо, что мы с ним – близкие соседи. Угораздило меня поселиться в Куинсе, неподалеку от кладбища, где вот уже четверть века лежит под скромной мраморной стелой с высеченным его профилем неповторимый человек и писатель Сережа Довлатов. И когда я прохожу мимо кладбища, мне иногда невтерпех донести до него дивные вести, докричаться до него.

И я кричу:

– Сережа! Ты первый писатель на Руси! Твои мечты не просто сбылись – ты стал кумиром нации! Самый-самый популярный, знаменитый, прославленный и любимый вот уже двадцать лет! Супер-пупер-бестселлерист! Ты переведен на 36 языков! Феномен Довлатова!

Почему-то с покойным Сережей меня тянет перейти на небывалое в наших отношениях «ты».

Нет ответа. Но я продолжаю по привычке окликать Сережу, хотя знаю, что его уже нет нигде.

P. S. Реплика на фейсбуке по поводу мытаря

Не слежу за фейсбучными полемиками, а потому не очень понимаю, почему снова возник «мытарь». Но для меня – очень кстати.

По поводу мытаря и моего употребления этого – оказывается, сакрального – слова. Встречаю с опозданием (упустила!), но по необходимости. Ибо была обвинена в крутом невежестве, назвав в своем мемуарном эссе Сережу Довлатова, убившем годы, чтобы настичь советского гутенберга и не напечатавшего ни строчки – мытарем, поставившим рекорд долготерпения.

Оказалось, я допустила позорный, умопомрачительный по невежеству «ляп», ибо мытарь в библейских текстах – сборщик налогов в древней Иудее. Следовательно, Довлатов, в моей кошмарной презентации, – древнеиудейский откупщик. Никем и ничем другим, в русском лексиконе, злосчастный Довлатов быть не может.

Эта библейская коннотация «мытаря», оказывается, интуитивно сечется молодым российским поколением, которое ежедневноничает с Библией по правую руку, и оттого между мной и молодыми библеистами разворачивается поколенческая пропасть, куда рухнул и несчастный, ни к какому мытарю не причастный Володя Соловьев, попытавшись вмешаться в спор.

Можно, конечно, посочувствовать поколенческой юнице, заиклившей на Библии и черпающей оттуда свой словарный запас. Но что-то сомнительно. Не так уж прилежно и внимательно читает моя критикесса свою настольную Библию. Могла бы заметить, что уже в Евангелии семантика «мытаря» расширена, до людской типизации – хотя бы в притче о смиренном мытаре и гордом фарисее. Не говоря уже о церковной литературе, где мытарь – страдающий кающийся грешник, смиреннейше просящий Бога о помиловании и получающий его. Короче, образ «смиренного мытаря» – страдающего хлопотуна-долготерпеливца – сложился на Руси уже давно – и в лоне церкви и в миру.

И уже в чисто бытийном, обиходном толковании «мытаря» вместе с охалкой родственных, производных от него слов (мытарства, мытарить, мытариться, замытарить, мытарствовать и т. д.) вошел в безрелигиозное советское лексическое пространство, где и просуществовал, оттеночно изменяясь по пути, уж точно до начальных 90-х и хотя захирел и замытарился новоязом, но безусловно был внятен, был узнаваем и находил отзыв у нынешних российских поколений. Этот мой мемуар о Довлатове уже давно гуляет по страницам русскоязычных СМИ, включая «Московский комсомолец», «В новом свете» и пр., включен в мои – как сольные, так и совместные с Соловьевым – книги, включая эту, и ни разу не была озвучена претензия по поводу мытаря. И никто, вестимо, не воспринял Сергея Довлатова, в моей подаче, библейским персонажем. Это у вас, ретивая младопоколенница, от лукавого.

Я не совсем сошла с ума и с языка, называя – не уничижительно, а с неким судьбоносно-церковным смыслом – Довлатова мытарем. Слово было взято из животворной гущи общеупотребительного русского языка.

Слово было живым, незахвачанным, с древнейшей родословной, слово с содержанием и с эмоциональным окрасом. Семенник, родивший немало однокоренников.

И это живое, сущее, с длинным хвостом ассоциативных связей историческое слово объявляется несуществующим в народной речи никогда. И мне, филологу и классицисту, предлагается совершить ритуальное убийство все еще жизнеспособного, из глубины общенародной речи взятого слова – во имя неприкосновенной сакральности Библии, где это слово – как мертвый атрибут Священного Писания – навеки и во веки веков погребено.

Ну уж нет. Исключительно мирской, начисто обезбибленный мытарь никогда не воспринимался в советские – да и в постсоветские – времена таким лексическим сакральным трупом. Предлагаю произвести воскрешение – насильственно убиенного и объявленного мертворожденным в недрах Библии – слова (привет Шкловскому!) Лично мне – по времени, по жизни – помнится обиходное толкование мытаря как горемыки, бедолаги – с подсознательно церковным оттенком страстотерпца.

Однако нынешние ортодоксальные библеобуквоеды, ратующие за священную неприкосновенность (в том числе – лексическую) своей Библии-ежедневника, гневно отвергают любое мирское толкование мытаря. Нет такого и никогда, кроме как в библейской древней Иудее, не было – ни в жизни, ни в одном из словарей русского языка.

В самом деле, в словарях задействован прежде всего библейский мытарь, священный персонаж Священного Писания. Но тут же приводится и неопровержимо реальный, исторический мытарь – сборщик податей в Древней Руси. Именно этот персонаж был «узурпирован» переводчиками русской Библии и стал лексической окаменелостью.

Но одушевленный, исторически конкретный, со своей лексической окраской мытарь продолжал крутиться в животворных недрах русского языка. Изменяясь в значении, тональности, речи (зафиксировано Далем в его словаре) и – произведя целое семейство родственных слов. Все они – производные от «мытаря» и, натурально, в той же мытарской эмоциональной коннотации – приведены во всех словарях современного русского языка.

Мы можем вычислить украденного русской Библией лексического мытаря – слова коренного, устойчивого, содержательного – из этого его однокоренного семейства. Берем по

ближайшему родству (из этимологического словаря – «от мытарь произведено мытарство») производное слово «мытарство».

Но тут подсказывает моя, знающая толк в языкознании обвинительница и гневно вопиет (в тексте, мною упущенном) – производить священного мытаря от мытарства не можно никак! Будет кощунством, святотатством!

Путает лингвистику с библеистикой. Что тут скажешь?

Ничего.

Владимир Соловьев Из довлатовского цикла

Уничтоженные письма

Выбранные места из переписки с друзьями

«Как смотрят души с высоты на ими брошенное тело», так, должно быть, взираете вы на меня и мое чересчур большое тело – с высоты и свысока. И может быть, вы правы. Но не слишком ли вы духовны – так и струитесь, а в руки не даётся?

Ваша гениальность стоит между нами, как религиозный предрассудок. Если вы не прекратите топтать мое большое заурядное сердце, я поступлю жестоко. Загоню ваши факсимиле Пушкинскому дому из расчета четыре рубля штука, возьму «Агдама», надерусь и буду орать, что вы крадете метафоры и синекдохи у Иосифа Бродского.

Бойтесь меня, Юнна!

СД – ЮМ (1976 г.)

Довлатов бомбардирует меня письмами из Ленинграда. На последнее, клинически кокетливое и насквозь фальшивое, я решила не отвечать. Он – человек отраженный, из-за этого комплексующий, страдающий и злобствующий. Держись его подальше – он тебя ненавидит за Сашу Кушнера. Он может только ненавидеть, я знаю таких людей, – Кушнера он тоже возненавидит неизбежно, впитав предварительно в себя исходящие от него, хоть и слабые, лучи. Он объясняется мне в любви, а на самом деле – не мне, а моей славе. Он гордится тем, что читает чужие книги еще в рукописи, из первой перепечатки, а если повезет, так в первом экземпляре, – и он ненавидит их авторов. Меня он тоже возненавидит: уже ненавидит, но пока что не знает об этом. А я – знаю.

ЮМ – Владимиру Соловьеву (1976 г.)

(Из уничтоженных писем)

Ах, как же она не права! Какое умное и какое несправедливое письмо!

Так или приблизительно так думал мой авторский персонаж, мой *alter ego*, мой двойник, мой чрезвычайный и полномочный представитель, которому я вынужден, ввиду внезапно возникших экстремальных, типа форс-мажора, обстоятельств, передать бразды правления. Теперь я только автор этого рассказа, а не его протагонист, хотя как автор я оставляю за собой право время от времени появляться самолично в ходе повествования. Если понадобится. А изначальный замысел был совсем иным – без никакого вымысла или умысла: публикация уничтоженных писем с разъяснительной преамбулой.

Как обозначить героев? Псевдонимами? Все-таки нет. Пусть будет секрет Полишинеля: реальные инициалы с легко угадываемыми выдающимися фигурантами нашей изящной словесности, к которой отнесем и этот рассказ, если он у автора вытанцует: СД и ЮМ. Зато остальные литературные випы – под собственными именами.

А рассказчика, может быть, слегка зашифровать? Или позаимствовать напрокат из предыдущего моего рассказа «Заместитель Довлатова», где он дан анонимно и безымянно, хоть ему и передано авторство фильма «Мой сосед Сережа Довлатов»? Пусть ему тогда принадлежит честь открытия этих уничтоженных и восстановленных из пепла писем СД, когда он рылся в архиве недавно умершего в Нью-Йорке известного писателя, эссеиста и полито-

лога Владимира Соловьева. Мне не впервой выдавать себя за покойника. См., к примеру, изданную семь лет назад мою книгу «Как я умер». Вот как мне видится драйв этого рассказа из моего *post mortem* будущего.

На гражданской панихиде по Владимиру Соловьеву – в том же самом похоронном доме на Куинс-бульваре, где четверть века назад мы прощались с Довлатовым, – ко мне подошла его вдова Елена Константиновна Клепикова и попросила разобраться в архиве мужа, перед тем как передать его на хранение в Принстонский университет. Согласился сразу – из долга перед покойником и его вдовой и не в последнюю очередь из любопытства. С Соловьевым не скажу, что был на короткой ноге, но встречались довольно часто – по службе и на прогулах, его отвязные мемуары и провокативные эссе нравились мне больше его же чистой прозы, хотя в рассказе «Заместитель Довлатова», где я прототипом и убалтываю довлатовманку не сам по себе, а благодаря знакомству с ее кумиром, что-то ему удалось схватить, правда до самой сути наших с Ниной отношений, до нашего с ней подполья он не дошел, а потому круто ошибся, предсказав нам скорый разрыв. Именно из-за Нины я и согласился написать для ЖЗЛ книгу о Довлатове, хоть и относился к нему с прохладцей, без особого энтузиазма, а только чтобы продлить наши с ней отношения. Да и Соловьев меня уломал: как он говорил, для восстановления справедливости и в опровержение похабной книжки о нем его завистника и ненавистника Валеры Попова в малой серии той же ЖЗЛ.

Вот в этом и была главная, личного свойства, причина, почему я тут же согласился на предложение Елены Константиновны Клепиковой: подключить к этой работе Нину, отношения с которой возобновились после их с мужем развода, но шли через пень-колоду. На этой панихиде я познакомил Нину с обеими вдовами, с обеими Еленами – она, понятно, больше заинтересовалась вдовой своего любимого писателя, с которой я тесно сотрудничал, работая над книгой о ее муже, и даже подружился, несмотря на разницу в возрасте. Такие панихиды носят тусовочный характер – встречаются те, кто давно не виделся, и не всегда узнают друг друга, а то и впервые знакомятся, как моя Нина с обеими вдовами. Местоимение «моя» употребляю условно. Если бы! Клепикова не возражала, что мы с Ниной придем вдвоем.

Совместная эта работа нас сблизила поневоле: Нина согласилась на время работы переехать ко мне, чтобы не мотаться каждый день из Бруклина в Куинс. Соловьевский архив был в таком хаотическом состоянии, что разбирать его и классифицировать – сплошная мука. Что, наверное, объясняется внезапной Володиной смертью в нелепой и загадочной автомобильной катастрофе, но об этом как-нибудь в другой раз, да и полицейское расследование еще не закончено. Наградой за наши муки были оригиналы писем Окуджавы, Бродского, Эфроса, Слуцкого, Мориц, Кушнера, которые, правда, Соловьев уже публиковал целиком или отрывочно в своих бесчисленных книгах: графоман, хоть и не без искры божьей. А Достоевский и Пруст – не графоманы? Любого писатель – от мала до велика – графоман по определению, ибо графоманит как угорелый. Без графомании нет писателя.

Настоящий прорыв у нас с Ниной произошел, когда мы, передавая друг другу страстицы, читали начатый покойником еще в Москве, где-то в середине 70-х, но так и не оконченный опус, который, заверши его Соловьев, мог бы, кто знает, стать *magnum opus*, судя по его великому замыслу. Название – «Места действия. Русский роман с еврейским акцентом». Подзаголовок имел прямое отношение к персонажам романа – евреям, неевреям и антисемитам, а титульное названием – к местам действия: Москва – Ленинград – Малеевка – Комарово – Коктебель и далее везде, вплоть до забытой богом псковской деревушки с загадочным названием Подмогилье. Впрочем, потом это название объяснялось: на холме там стоял тевтонский крест над погибшим в допотопные времена псом-рыцарем. Потом железный крест исчез и появился снова на деревенском кладбище: какой-то пройдошливый православный водрузил его над пустой могилой своего сына, когда пришла похоронка с фронта, где он погиб от пули пса-фашиста.

Мы с Ниной увлеклись круто закрученным сюжетным драйвом и легко узнаваемыми персонажами: известные писатели, режиссеры, художники, давно уже на том свете, а теперь туда же и автор, который кичился, что был их младшим современником. По жанру – роман-сплетня с детективным сюжетом, любовным скрежетом и философическим уклоном: все в одном флаконе, в одной романной упаковке! А потом пошел роман в романе – «Большой эпистоляриум», а был, значит, где-то еще и малый, да? Такие письма теперь, в эпоху емелек, текстовок и эсэмэсок, никто не пишет, да и тогда вряд ли писали, нафталин и анахронизм, но автор объяснял это эпистолярное половодье писательской профессией своих персонажей и летним сезоном, когда все разъехались кто куда и отсутствие живого личного общения сублимировали письмами. Почтовый онанизм, конечно, но читать интересно благодаря аутентичности – очевидно было, что Соловьев скрмздил чужие письма и, как есть, вставил их в свой охренительный по замыслу, но, увы, так и не конченный русский роман с еврейским акцентом, хотя с полтысячи страниц машинописи набежало, не хило! Перед нами был черновик, и Соловьев не успел еще литературно обработать реальные письма, а только снял с них копии и механически вставил в текст. Вот тут нас как громом поразило – Соловьев бы убил меня за это клише.

Честь обнаружения писем ее любимого писателя принадлежит, само собой, Нине. Она вскочила, сделала по комнате несколько па, а потом бросилась ко мне и расцеловала, что случалось с ней крайне редко, если случалось вообще – не припомню. Несмотря на близкие отношения. Но чтобы такой порыв ни с того ни с сего?

А потом и вовсе закружила по комнате, прижимая к груди машинописные страницы. На шум вошла Клепикова, вид у нее был еще тот – краше в гроб кладут. Вот вроде бы улица с односторонним движением, один целует, а другой подставляет щеку, а как убивается! Такая нелепая смерть, мог бы жить и жить. Не до бесконечности, конечно, хоть и вечный жид, несмотря на православную фамилию, говорил, что предки из кантонистов.

– Что-нибудь случилось? – спросила Елена Константиновна.

Нина бросилась к ней на шею со слезами на глазах. От полноты чувств. Никогда не видел мою-не-мою Нину в таком экзальтированном состоянии. Елена Константиновна приняла ее слезы за сочувственные и стала ее же утешать, хотя вроде должно быть наоборот.

– Можно скопировать эти страницы? – спросила Нина.

– Что-нибудь интересное? – безучастно сказала Елена Константиновна, показала, где стоит ксерокс, и не дожидаясь ответа, вышла из комнаты.

– Письма СД! – сказала Нина. – Нигде никогда не публиковались!

В этом ей можно было поверить: она знала СД наизусть, да еще собирала здешние реликтовые издания, которые он сам оформил.

До меня, наконец, дошло. Пусть она целовала во мне другого, я был *proху*, заместителем СД, как верно назвал меня Соловьев, да хоть бы и так, но все-таки и меня тоже! Как в том анекдоте, переиначив его гендерно: если в объятиях своего мужа вам снится чужой муж – вы потаскуха и бля*ь, но, если в объятиях чужого мужа, вам снится свой муж – вы верная и примерная жена. В смысле «изменяешь любимому мужу с нелюбимым любовником ты». К какой категории отнести мою любушку, и ежу понятно. В моих объятиях ей снится СД (если снится), которого по своему возрасту и его ранней смерти она никогда не видела. Разминулись во времени – и слава богу.

Благодарный до умиления, я и спорить не стал, когда она попросила первой прочесть эти письма.

– Право синьорины, – сказал я.

Удивленно на меня воззрилась, улыбаясь тому, что я по-рыцарски назвал ее синьориной.

– Право первой ночи, – пояснил я.

– В самый раз для твоей книжки. Вот будет сенсация – неопубликованные письма Довлатова!

Куда большая, чем мы думали поначалу, – это были копии уничтоженных писем!

Ну, что рукописи не горят – это, положим, лажа. Кто это сказал? А, булгаковский Воланд. Даже странно такое слышать от этого бессмертного всезнайки. Еще как горят! Не дошло большинство пьес Эсхила, Софокла, Еврипида, очень выборочно – куски из «Истории» и «Анналов» Тацита. А десятая глава «Евгения Онегина»? Второй том «Мертвых душ»? Да мало ли! Теперь представьте, что второй том «Мертвых душ» нашелся. Я не сравниваю, конечно, но при посмертной славе СД каждое писанное им слово – на вес золота. Сколько опубликовано его радиоскриптов, которые он считал халтурой и завещал не печатать. А сколько писем! Он был великим мастером эпистолярного жанра – вровень с Флобером и Чеховым. Часть его писем пропала – мать уничтожила письма СД из армии. А жаль. Другая крайность – выстраивать из писем СД себе пьедестал: самый наглядный пример – так называемый эпистолярный роман, хотя на деле антироман его друга-врага. В конце концов корреспонденты возненавидели друг друга, и выживаго продолжает ненавидеть покойника спустя четверть века после его смерти. Хотя по гроб жизни должен быть ему благодарен своей, какой ни есть, а известностью, которую приобрел исключительно благодаря скандальной публикации этой переписки, несмотря на моральные, а потом и в судебном порядке возражения вдовы.

По мне, однако, лучше использовать контрабандой, себе в карман, документы замечательных людей, чем их изничтожить: варварство и вандализм! Когда на мой запрос ЮМ сообщила, что сожгла ленинградские письма к ней СД, я готов был помчаться к ней через океан, чтобы, как Настасья Филипповна пачку денег, вытащить эти обгорелые письма из огня, пока/если не поздно. ЮМ сжигала ненужные бумаги в большой железной пепельнице, это мне Соловьев сообщил. Анатолий Мариенгоф пришел в отчаяние, когда сын его умершего друга, великого Качалова, уничтожил все записи отца, которые, помимо того, что документ эпохи, содержали блестящие, пусть и едкие, характеристики известных современников. Теперь, однако, ситуация изменилась самым удивительным образом: если ЮМ действительно сожгла эти письма, то только оригиналы, и у меня в руках оказались их копии, которые Соловьев снял с оригиналов, а те ЮМ дала ему уж не знаю зачем – для литературных надобностей: тогда он как раз сочинял свой роман, либо потому, что он был в этих письмах упомянут, пусть и в негативном контексте. ЮМ сделала приписку, приведенную в качестве одного из эпиграфов к этому опусу, который за меня пишет покойник. Пусть парадокс, что с того?

*Горацио, есть в этом мире вещи,
Что философии не снились и во сне.*

Какая интрига, однако! И не одна, а несколько переплелись друг с другом, как змеи округ прекрасной головы горгоны Медузы или в романе Мориака, так и названном «Клубок змей», – какой драйв для моей книги про СД!

Мы вернулись домой, хотя, может, и преждевременно, выдавая желаемое за действительное, называю домом свою холостяцкую квартиру. Если бы! Нина приняла душ и устроилась с письмами на *loveseat*, не знаю, как по-русски. Я сел за компьютер и сбросил текстовку о найденных письмах СД его вдове. Глянул на Нину – она улыбалась, а в глазах снова слезы. Первый раз вижу ее такой! Обычно сдержанная, отстраненная, даже в постели. Это про нее Пушкин написал «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...», это она нежна без упоенья и, более того, очень редко делит мой пламень поневоле, увы и увы мне. Я подошел к ней, погладил по волосам, поцеловал, хотел слизать ее слезы и моментально вспомнил соловьев-

ский рассказ «Женские слезы, женские чары», знаю, кто прототип, молчу. Нина отстранилась:

– Слушай, – и стала читать письма СД.

...Странный вы, право, человек, Юнна! На простой к вам вопрос: «Нет ли каких поручений в Ленинграде? Какие-нибудь непошедшие рукописи забрать, оскорбить кого-либо, побить?» – вы просите меня купить вам эмалированный чайник. Самое удивительное, что я, готовый для вас на все, этой просьбы выполнить не сумел. С готовностью бы выслал, ежели бы наличествовал. Заранее, признаться, мне не верилось. Это означало бы – в Ленинграде есть что-то, кроме Медного всадника и Адмиралтейства.

А лично у меня чайника нет – отдал при разделе бывшей жене, а себе оставил алюминиевую хреновину с ручкой – для кофе. Название забыл. Похоже на имя героини Марлинского.

Короче, не поверив своему инстинкту – он же внутренний компас, – я отправился в непогоду по здешним посудным лавкам и обошел девять штук – совершенно напрасно!

Эмалированные чайники внезапно исчезли, испарились – это вам любой подтвердит! Так бывает. Месяц назад пропали куриные яйца, одновременно по всей стране – неразрешимая биологическая загадка! Джинсы легче приобрести, чем гречневую крупу или кофе. Таковы сюрпризы нашей плановой экономики.

Операция продолжается, хотя я уже не надеюсь, – ищу в пригородах Ленинграда.

Хотите, я украду Рубенса из Эрмитажа? Это проще. А чайников нет. Нормальные женичины, в отличие от вас, требуют грильяж или колготки.

Обратите внимание, Юнна, нашими эмигрантами овладевает какой-то зарубежный вид советского идиотизма. О цене колготок сообщают даже глубокие, умные люди. Откуда появилось это мерзкое слово? И какова этимология? Кол в глотке? Кал в глотке?... Ужас!

Я это к тому, что атмосфера в Ленинграде привокзальная. Неожиданно выяснилось, что все окружающие – евреи.

В Москве, впрочем, та же история. Это грустно.

Что нам делать в этой ситуации? Пожениться и уехать в Америку? Вы бы предавались цветаевскому аскетизму и чувствительности, а я – тренировал боксеров-негритят и мыл автомобили. Что ни говорите, Юнна (физическое удовольствие произносить ваше имя), жениться на вас можно хотя бы из снобизма...

* * *

...Я убедился с горечью, что вы не потерпите моих скромных литературных дерзаний. А турнир приматов не для меня. Я не стану подвергать вас дальнейшему чтению. Найду себе других читателей – военнотружеников, баскетболистов... Я не дуюсь. В сущности, рассказы к ним и обращены. И реальны лишь те мерки, на которые эти сочинения претендуют. Шило – страшное оружие, но идти с ним на войну глупо.

* * *

Мне близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать.

В Ленинграде есть такой старый писатель – Геннадий Самойлович Гор, сейчас он сидит в психушке и канючит у всех шесть копеек, а до этого, говорят, писал, как неандерталец. Ни разу не читал, но беру его в свои учителя.

Мне нравится Куприн, из американцев – О’Хара. Толстой, разумеется, лучше, но Куприн – дефицитнее. Нашу прозу истребляет категорическая установка на гениальность. В результате гении есть, а хорошая проза отсутствует. С поэзией все иначе. Ее труднее истребить. Ее можно прятать в кармане и даже за щекой.

Юнна! Вы пишете: «Кушнер стал чемпионом по техническим причинам. Ленинградский матч не состоялся» и т. д. Вы имеете в виду Бродского? Я не понял.

Кушнер не является его Сальери, хоть и не любит его стихи. Сам-то он, говоря о Бродском и о себе, антитезу «Моцарт – Сальери» заменяет иной: «Моисей – Аарон». А вдруг в этом что-то есть?..

* * *

...В Ленинграде, между тем, проблема гениальности стоит чрезвычайно остро. Гениальны все без исключения. Москва в расчет не берется. В цене здесь красноречие, неоампирные традиции и культуртрегерство. Человек, знающий больше одного языка – хотя бы полтора, – одержим здесь манией величия. Умеющий писать стихи – гений. А пишут их буквально все – от мала до велика.

В результате – поэтическая инфляция, безответственность и одуряющая скука. Вечный турнир уязвленных самолюбий. Бесчинства неокультуренных темпераментов.

В Ленинграде – убожество. Целыми днями только и слышно: «Обо мне говорили в Пен-клубе». Как будто Пен-клуб – гулянка у Саши Кушнера или Валеры Попова. Оцените мою объективность!

А что в Москве? В Москве Богу молятся чуть ли не в трамвае, что для меня, как истинно верующего, оскорбительно. Веруют с удручающей наглядностью. Щипнет чужую жену и скажет: «Я познал Бога!»

* * *

...Знаете, милая Юнна, чего бы мне по-настоящему хотелось? Чтобы вы повидали мою армянскую родню – это моя четвертинка, а в остальном – чистокровный еврей! Все – армяне – толстые и шумные. У всех как минимум одна судимость. У моего старшего двоюродного брата – две. Одни имена чего стоят: Хорен, Арменак, Ованес, Гайк, Беглар... Мама утверждает,

что в Ереване имеется троюродный брат по имени Жюльверн. С трех еврейских сторон родственники менее выразительны...

– Странно, – перебил я Нину. – СД – полукровка: отец – еврей, мать – армянка. Как шутил Вагрич Бахчанян, «еврей армянского разлива». Зачем ему понадобилось увеличить свою еврейскую половинку до трех четвертей? Поднадоели анкетные данные, и он решил представить их в несколько иной комбинации? Очередная его мистификация, коих он был большой мастер? Свою прозу он называл псевдодокументализмом. А здесь – лжеавтобиографизм? Для него что письма, что проза – все едино.

– Так и есть! Эти письма – такая же чудесная проза, как и его рассказы. Только в ином жанре: эпистолярная проза.

В таком восторженном состоянии и правда не видел Нину никогда. Любил ее еще больше, хотя куда больше! И дико ревновал к мертвецу. Хотел обнять, приголубить, приласкать, но решил наоборот – нет, не ушат холодной воды, но слегка остудить.

– Не связано ли это с предотъездными настроениями в Ленинграде, где привокзальная атмосфера и «неожиданно выяснилось, что все окружающие – евреи»?

– Какое это имеет значение? – не унималась Нина. – Классно как сказано: «неожиданно выяснилось»...

– Да, этого у него не отнимешь – юмора...

– А что ты хочешь у него отнять? Талант? Что-то ты к нему неровно дышишь...

– Это ты к нему неровно дышишь, – сказал я.

Нина на меня как-то странно посмотрела:

– Иди сюда...

Впервые мы воспользовались *loveseat* по назначению. Впервые без презика. «Будь что будет...» – шепнула Нина, когда я хотел вынуть, и не выпустила меня. Обалденный секс – как никогда. Красивая – как никогда, господи! И тут меня как пронзило: Нина принимала меня за другого и принимала в себе, а теперь и в себя – другого. Ну и пусть!

– Совсем как в юности, – сказала Нина и заплакала. По-настоящему.

К кому ревновать – к тому, кто был у нее в юности, первый раз – в первый класс, или к тому, с кем у нее никогда ничего не было, не могло быть и не будет? Оба соперника для меня из виртуального ряда. Тем сильнее ревность.

– Знаешь, – сказала она вдруг, – когда все это у меня началось, нет, не секс, а вся эта девичья похоть, такая зависимость, просто ужас, только об этом и думаешь, я была в отчаянии, мечтала, чтобы у меня вообще не было влагалища. Смешно, да?

Хотел увести мою милую в койку, чтобы продолжить любовь как никогда, но Нина так и осталась голенькой, не стесняясь больше меня, на нашем любовном ложе и снова взялась за письма моего случника, но читала теперь молча и передавала мне страницу за страницей.

В этих эпистолах СД раскрывался с необычайной силой. В отличие от всех других писем – бывшей любовнице, к которой он относился, мягко говоря, снисходительно и как к женщине, и как к литератору, или самозванцу-мэтру, цену таланта которого он тоже знал, а вдобавок поймал на моральной нечистоплотности, – **эти** письма адресованы одному из самых статусных и одаренных русских поэтов, когда сам СД был в литературе еще никто. Недаром испытывает к ЮМ не только респект и уважуху, но своего рода благоговение.

Да и Соловьев вспоминал, что СД говорил о ней с придыханием, а Бродский называл ее стихи изумительными. Лучше процитирую самого СД:

И еще я подумал, случись все это у меня на родине!.. Я мгновенно становлюсь знаменитым. Бываю в Доме творчества. Ужинаю в ЦДЛ с ЮМ. (Белла Ахмадулина рыдает от зависти.) Официант интересуется: «Над чем работаете, СД?» В общем, живу как человек. А здесь?

Встреча с ЮМ в ЦДЛ – вершина литературных мечтаний СД. Вот почему в письмах к ней он выкладывается весь, касается ли это его творческого кредо либо практических планов.

Иногда эти письма смахивают на объяснение в любви, а то и зашкаливают еще дальше – это касается его матримониальных прожектов, и хотя подобные предложения он делал и другим женщинам – в шутку, то ли всерьез, – однако теперь, похоже, это как-то было связано со смутными эмиграционными прожектами СД. Нет, еще не на Запад, куда подались Ося Бродский, Дима Бобышев, оба Миши – Шемякин и Барышников, Рудольф Нуриев, Наташа Макарова, а в Москву, куда к тому времени рванули из загэбэзированного Ленинграда многие Сережины знакомые: женившиеся на москвичках Андрей Битов и Женя Рейн, Володя Соловьев с Леной Клепиковой, Толя Найман. Кто-то помечтал, помечтал, ну, прям как три сестры – «В Москву, в Москву, в Москву!», – да так и не решился, как тот же Валера Попов, всегда опасавшийся конкуренции: «Там, где Битов, второму ленинградцу делать нечего». Ленинград опустел, остались единицы – Виктор Голявкин, Глеб Горбовский да ливрейный еврей Саша Кушнер, но они погоды не делали: культурный ландшафт изменился неузнаваемо, город опустел. СД в аварийном порядке просчитывал разные внуриэмиграционные варианты, потому что в Ленинграде было невмочь.

Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?..

Эти его письма помечены 75/76 годом. В марте 75-го СД возвращается в Ленинград из внутренней эмиграции после краха всех его таллинских надежд и упований, а до окончательного отвала из России в конце августа 78-го еще несколько мучительных лет. Вот СД и проигрывает еще один паллиативный вариант – столичный, с чем, по-видимому, связан и его странный звонок в Москву Владимиру Соловьеву с расспросами, как они там с Клепиковой устроились и каковы журнально-издательские перспективы, и матримониальные намеки вдовствующей ЮМ, последний муж которой, поэт Леон Т., сиганул в свою смерть из окна их квартиры на Калининском проспекте. Почему эти половинчатые, полуэмигрантские планы были похерены, судить не берусь.

...Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сузую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу – не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.

Я написал трагически много – под стать своему весу. На ощупь – больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием «Один на ринге». Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид – фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди. И почти сидел в тюрьме.

* * *

...Томас Манн – великий человек, но «Иосиф с братьями» – чистая мистификация. Чтобы автора в этом не интуитивно, а доказательно уличить, надо подняться на очень высокую ступень. Беда только, что на этой ступени никто никого ни в чем не уличает. И потому грандиозное космическое штукарство Томаса Манна недоказуемо...

* * *

...Вы ссылаетесь на Володю Соловьева. Спросите у него мимоходом, зачем он таявкнул в «Комсомолке» на Сашу Кушнера. Это было не элегантно. Ситуация «Соловьев – Кушнер» для меня непостижима. Мои жизненные и литературные принципы безнадежно спортивны: «Все, что пишут мои товарищи, гениально! Все, что пишут хорошие люди, талантливо! Все, что пишут дурные люди, бездарно! Все, что пишут враги моих товарищей, истребить!»

Не такая уж примитивная установка, если вдуматься...

* * *

...Я надеюсь, вы видели в «Юности» два листа моей заводской халтуры. Мое желание там напечататься кончилось позором и больше ничем. Зато мой портрет замечательный. Такой нервный андалузский певец. С глазами, как увядающие розы. Один ложный друг реагировал на это стихами:

*Портрет хорош, годится для кино,
Но текст – беспрецедентное говно!*

* * *

...Может быть, вы приедете к нам – хоть на день-два? А если приеду я, то исключительно, чтобы повидать вас, Женичину-Которая-Работает! Вы пишете: работаю, чтобы кормить семью и быть независимой. Какая же это независимость? Умная, а чего пишет...

Так вот – повидать женичину, которая работает. И защищает от меня и Сашу Кушнера литературу – вместе с Соловьевым: будто мы захватчики какие! Но я на вас не сержусь – только на Соловьева, к которому ревную. Я задам вам тот же вопрос, который вы мне задали в связи с Кушнером: что вы в нем нашли? Поделитесь вашим открытием с друзьями...

И наконец, последнее письмо, на которое ЮМ не ответила, сочтя его «клинически кокетливым и насквозь фальшивым». Неправда!

...Ваше поколение лучшие – наши будто с цепи сорвались. Вы говорите, тургеневские пейзажи... Да у нас пьют «Агдам»¹ в среду утром.

Я вас разгадал, ЮМ, – вам четырнадцать с половиной лет. Или – тринадцать с половиной. Половинки можете отбросить – обе. Убеден, что на протяжении всей вашей крупной жизни вам бывало дурно от слов «моя родная...». Вот и зазвучала какая-то опасная нота...

¹ Агдам – это вино, примерно йод с хлоркой (примечание самого СД для ЮМ).

А как вы, поэт всесоюзного масштаба, относитесь к стихам Андрея Вознесенского? Это стоит, чтобы читать?

Будьте уверены, что за всеми моими кривляньями и обидами стоит болезненный интерес к вам, любовь к вашей поэзии, тоска по иной замечательной жизни, адская робость и многое другое.

И еще – хочу сообщить вам загадочную интимность: просьба не оборачивать мне во вред. Тем более что это ни к чему отношения не имеет. И вообще – мистика. Так вот, я один раз в жизни был на пороге обморока, не клинического – у стоматолога и не от ужаса – в лагерях, а обморока, так сказать, духовного происхождения. Это когда я позвонил вам из Ленинграда и вы доверительно известили, что не одеты. Не сердитесь, Юнна. Не знаю, что произошло. Просто – факт. Я так и не разобрался. И счел – о нем поведать. Какая-то дикость...

«Как смотрят души с высоты на ими брошенное тело» – так, должно быть, взираете вы на меня и мое чересчур большое тело – с высоты и свысока. И, может быть, вы правы. Но не слишком ли вы духовны – так и струитесь, а в руки не даётся?

Ваша гениальность стоит между нами, как религиозный предрассудок. Если вы не прекратите топтать мое большое заурядное сердце, я поступлю жестоко. Загоню ваши факсимиле Пушкинскому Дому из расчета четыре рубля штука, возьму «Агдама», надерусь и буду орать, что вы крадете метафоры и синекдохи у Иосифа Бродского. Бойтесь меня, Юнна!

Дочитав письма, мы отправились спать, но любовью больше не занимались – как-то не до того было. Нине, а я не прочь. Но боялся потерять то, что между нами впервые случилось в эту ночь – близость, превышающая любую другую. В сексе в том числе. Но и без секса, хоть хотел ее дико. Вот именно: самый лучший секс, с кем хорошо и без секса.

Наутро я сканировал письма и сбросил обеим вдовам, обеим Ленам.

От ЕД получил мгновенный ответ, от ЕК – никакого.

Судя по записке ЕД, она была почти в таком же возбуждении, как моя-не-моя Нина:

Спасибо за письма. По-моему, замечательные. И кокетство очень мужское и тонкое одновременно. Простите, вы их будете приводить в своей книге? И как только Юнна дала вам их скопировать? Ведь она мне говорила, что уничтожила все письма СД по его распоряжению. Не думаю. Но ее писем в архиве нет. Что жаль. И они пока нигде не мелькнули. Значит, СД не оставил их никому при отъезде. Очень-очень жаль.

Елена Константиновна сама заговорила об этих письмах, когда мы с Ниной зашли к ней вечером:

– Интересные письма. Похожи на настоящие.

– Они и есть настоящие! – как-то уж слишком горячо воскликнула Нина.

– Откуда вы знаете? Это же перепечатка. Тогда ксероксы в Москве были наперечет. А у переписчиков, известно, бывают ошибки, описки, в данном случае – опечатки. А иногда сознательные искажения и привнесения. Те же русские летописи взять. Либо еще более древние времена – анахронизмы в Библии, различные списки «Гильгамеша».

– По стилю видно, что это письма СД! – не унималась Нина. – Мне ли не знать! Я знаю все его тексты наизусть.

– Ну, для этого надо провести текстологический анализ, – возразила Елена Константиновна.

– У вас какие-то сомнения? – спросил я.

– Не то чтобы сомнения, но я помню, как писался и почему не дописался этот роман. И всю историю с этими письмами помню. И не только с этими. Когда Володя дошел до «Эпистоляриума», он у всех цыганил письма. Начал с меня. Здесь и клянчить не пришлось – просто спросил, может ли их использовать. У нас с ним была большая предлюбовная переписка.

Клепикова замолчала, но потом собралась с силами:

– Что касается ЮМ, то ее и просить не надо было. Она рада была избавиться от писем, поставив на СД крест. Здесь она была вряд ли оригинальна – тогда мало кто предвидел такой его посмертный взлет. Даже мы с Володией, хотя любили его рассказы – Соловьев делал вступительное слово к его единственному вечеру, а я пробивала их у нас в «Авроре», но из этого ничего не вышло. Потом мы переехали в Москву, Соловьев порвал все связи с питерской литературной мафией, так, по крайней мере, он считал. Поэтому звонок СД из Ленинграда так его удивил. А его письма он вставил в свой роман и несколько раз пытался вернуть Юнне. Та – ни в какую! Володя чуть не силой всучил ей на нашей отъездной за день до отъезда – не брать же их с собой в Америку! Почти весь наш архив мы оставили Фазиллю Искандеру. О чем сейчас очень жалею.

– И с тех пор как Юнна порвала с СД...

– Она возобновила с ним отношения только через десять лет. Уже в Нью-Йорке – через нас: у нас с ней связь не прерывалась, письма через океан шли потоком в оба направления: сначала с оказией, а потом обычной почтой. Весь этот эпистолярный Соловьев вставил в свой мемуарный фолиант «Записки скорпиона».

– Это «Роман с памятью», да? – сказал я. – Помню, он описывает, во что обходились СД визиты дорогих московских и питерских гостей – не только в денежном исчислении. Чуть ли не после каждого такого приема он ударялся в запой. Беспомощная в бытовом отношении, а тем более в Америке, но очень бытом озабоченная ЮМ гоняла его в Нью-Йорке в хвост и в гриву – и в конце концов загоняла в свой последний наезд в Нью-Йорк в июле 1990 года, за месяц до его смерти. Он не выдержал и на этот раз запил, не дожидаясь ее отъезда. Кончилось это все катастрофой.

– Кажется, про СД у него в другой книге.

– Почему все-таки вы сомневаетесь в аутентичности этих писем?

– Потому что знаю Соловьева. Знала, – поправилась вдова. – Типичный юзер. Литература превыше всего. СД был тогда никто, и никаких надежд, что выбьется в люди. Полная безнадега. Володя эти письма как документ не ставил ни во что, а использовал как подсобный материал для этого романа. Нет, в основе, наверное, лежат подлинные письма, но он неизбежно переиначивал их в угоду своему сюжету, где СД был одним из персонажей, а не только эпистолярный. Мало того что неоконченный роман, так вы его даже еще не дочитали, возбудившись от этих писем. А там могут быть еще сюрпризы.

– Какие еще сюрпризы после этих писем? Никогда не поверю, что они поддельные! – пожалилась Нина, у которой отнимали любимую игрушку.

– На то Соловьев и писатель, чтобы симитировать чужие письма и выдать за подлинные. Забыла, как называется псевдодокументальное кино.

– Вы имеете в виду *mockumentary*? – сказал я. – А это литературный фальшак?

– Скорее литературная мистификация. Как, наверное, любое искусство, которое выдает себя за реальность. Тем более в основе все-таки документ – реальные письма СД.

– На сколько процентов? – спросила Нина.

– Я не считала. Вот пример. Сравнение двух пар «Бродский – Кушнер» и «Моисей – Аарон» для меня немного сомнительно. Откуда СД было знать о нем? Он не был вхож ни к Кушнеру, ни к Бродскому. Да и те между собой не соприкасались – большой любви между ними не было. Разве что на наших днях рождения. И в смысле атрибуции этих слов Кушнеру:

Саша был не очень горазд на библейские сравнения. Это скорее стилистика Соловьева. В «Трех евреях» он сравнивает их с Иаковым и Исавом.

– Помню, – сказал я. – Что его роман – попытка восстановить поправленную справедливость: право первородства принадлежит косматому Исаву, а не гладкому Иакову. А то, что Кушнер стал чемпионом по техническим причинам, потому что ленинградский матч не состоялся, по-вашему, тоже вымысел?

– Думаю, это как раз точные слова ЮМ – по прямой аналогии с сорванным матчем с Фишером, когда Карпов был объявлен чемпионом. Юнна – москвичка, а потому ей невдомек, что на самом деле матч состоялся, у нас на квартире, и Соловьев описывает его в «Трех евреях»: пииты читали свои стихи, и Бродский вышел из этого турнира не просто победителем, а триумфатором. И получил награду – лично от меня. Когда чтение стихов закончилось и Кушнер сидел как побитая собака, я принесла сковородку с мясом и плюхнула Осе на тарелку лучший кусок. Он с ходу вонзил в него вилку, и кровь брызнула ему на пропотевшую рубашку. Когда читал стихи, пот с него лил градом.

– А почему нет писем ЮМ к СД? – спросила Нина.

И я понял, к чему она клонит.

– Наверное, потому что ЮМ не дала свои письма Володе, – опрометчиво сказала Клепикова.

– Что ему стоило их выдумать, как он выдумал письма СД?

– Я не говорила, что он их выдумал, но мог добавить отсебятины. Он и с моими письмами поступал точно так же.

– Ну, скажи мне, плиз, чего она парит? – спросила Нина, как только за нами закрылась дверь. – Из кожи вон лезет, подвергая сомнению подлинность этих безусловно подлинных писем?

– Кажется, я догадываюсь, – улыбнулся я. – Дело в копирайте. У кого юридические права на эти письма?

Хороший вопрос! То есть ничего хорошего!

Здесь самое время, как обещано, заступить место мнимо пока что покойному автору Владимиру Соловьеву. Что меня несколько смущает, а то и возмущает: не слишком ли уж быстро моя соломенная вдова забыла своего свежего еще мертвяка и пустилась в литературный треп с вымышленными героями? Ну и тип, этот заместитель Довлатова, ха-ха! Самозванец! Пусть я его и измыслил себе на горе. Подлинные письма или не подлинные – какая разница? Главное, что похожи, и даже если фальсификат, то неотличимы от настоящих, коли даже вдова попалась. Да Довлатов подписал бы их не глядя.

В «Трех евреях», коли они помянуты всеу, у меня есть глава «Саморазоблачение героев в теоретическом аспекте», действие происходит в Вильнюсе и там триалог между Сашей Скушнером, Томасом Венцловой и Владимиром Соловьевым. Разговор такой действительно имел место быть, и суть его схвачена верно, но я не записывал на магнитофон, а когда пытался воспроизвести по памяти, чего не помнил, присочинил, добавив аргументы всем его участникам. На то и роман, пусть и исповедальный. И вот после двух скандальных публикаций в Нью-Йорке выходит первое российское издание, тоже, понятно, со скандалом, и я участвую в радиомосте по этой книге – два часа разговоров со всех краев земли: от Москвы и Питера до Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, и включая, само собой, американские и канадские университеты и колледжи, где обосновались новые американцы русского разлива. Среди участников – Томас Венцлова из Йельского университета, выступления которого жду с некоторой опаской. И тот вдруг, душка, защищает меня от моих зоилов: «Не знаю, как относительно других частей книги, но все, что написано про нашу встречу в Вильнюсе, абсолютно

точно. Все так и было». А касаясь всего остального лучше всех сказал Довлатов: «К сожалению, все правда». Это была последняя книга, которую он прочел.

Кому принадлежат отправленные письма – автору или получателю? Обоим? Ввиду моральной двойственности этого вопроса, переведем его в юридическую плоскость. Есть ли у получательницы писем СД права на них, тем более ЮМ все письма уничтожила, а значит, утратила права даже как на материальную собственность – на ту бумагу, на которой они написаны, не говоря о содержании? Права на интеллектуальную собственность, понятно, у вдовы писателя, которая с живым энтузиазмом восприняла саму находку и предстоящую публикацию писем в книге о ее муже. Здесь, однако, требуется юридическая оговорка: права на эти письма также у Владимира Соловьева, как соавтора СД. И как у человека, который втащил их в свой неоконченный роман, видоизменив их в угоду сюжету и концепции (на сколько процентов, не считал), а потом извлек их обратно, по возможности очистив от скверны-отсебятины, и в таком виде вставил в эту книгу, как документ. К тому же Владимир Соловьев – то есть я – приводит эти письма не полностью, а только те фрагменты, которые характеризуют их отправителя: как большого писателя, остроумного абсурдиста, блестящего эпистоляриста и глубоко трагического человека.

Я уже писал, как был обескуражен и расстроен, когда Лена Довлатова стала возражать против публикации писем, хотя только что была за! Еще бы! Я начисто позабыл про эти письма и обнаружил их по чистой случайности в самый последний момент, когда книга уже была практически закончена, – потому и решил тиснуть их под конец, хотя место им по их значительности, наоборот, где-то в самом начале, но откуда мне было знать? Не перекраивать же весь сюжет и композицию книги. И не только физические усилия были потрачены, чтобы разыскать их в хаосе моего архива, но и эмоциональные всплески: когда я стал читать весь этот эпистолярный, думал, что прошлое похоронено и раны зажили, а прошлое живо, пока жив я, и старые раны открылись. Всяко, это не имеет никакого отношения к письмам СД.

В конце концов мы пошли с Леной Довлатовой на компромисс: я привожу отдельные места из этих писем в книге, а сами письма больше не существуют, коли они уничтожены, и я использую эти уничтоженные письма в рассказе, который сейчас дописываю. То есть возвращаю их в мою прозу, откуда их извлек. А что мне остается? Единственный выход из моего отчаяния. «Это ваше право, как писателя», – сказала мне вдова. Не моя будущая, а вдова Сергея Довлатова. И коли я перевожу эти письма из документального жанра в беллетристический, как и было задумано давным-давно в Москве, то и письма эти предположительно вымышленные, поддельные, хотя самые что ни на есть настоящие, подлинные!

Нина снова забралась с ногами на наш – теперь уж точно наш! – *loveseat*, я укрыв ее пледом, и она углубилась в чтение неоконченного романа Владимира Соловьева.

– Вот и «Малый эпистолярный», – сказала она.

– С нас достаточно большого.

Я сидел за столом и раздумывал, как обойти запрет вдовы на публикацию писем СД. Воспользоваться суфлерской подсказкой вдовы ВС? Выдать подлинники за поддельные? Почему нет? Не пропадать же этим драгоценным письмам. Один раз они уже были уничтожены – чтобы я взял грех на душу и уничтожил их вторично? Никогда!

– Смотри, что я нашла!

– Что еще?

– Письма!

– Какие еще письма?

– СД!

– Так они же с ЮМ разбежались.

– При чем здесь ЮМ! Твоему Соловьеву! С ним СД по корешам. Не то что коленопреклоненные письма ЮМ! Что будем делать?

– Писать следующую книгу, – сказал Владимир Исаакович Елене Константиновне.

Перекрестный секс

Рассказ Сергея Довлатова, написанный

Владимиром Соловьевым на свой манер

Названием, сюжетом, целым эпизодом и даже отдельными словечками эта история обязана Довлатову, а потому и посвящена ему

Ты у меня одна. Я у тебя – один из целого табуна употребленных мужчин.

Виктор Куллэ

*я сзади подойду прикрою
ладонями твои глаза
и буду слушать грустно виктор
иван василий константин*

Стишок-порошок

Женищина пришла к Конфуцию и спросила, чем многоженство отличается от многомужества.

Конфуций поставил перед ней пять чайников и пять чашек и говорит:

– Лей чай в пять чашек из одного чайника. Нравится?

– Нравится, – согласилась женищина.

– А теперь, наоборот, лей в одну чашку из пяти чайников.

Нравится?

– Еще больше нравится, – призналась женищина.

– Дура! – заорал Конфуций. – Такую притчу испортила...

Антипритча

Бля*ь я или не бля*ь – вот в чем вопрос? Оставим его пока открытым. Это все-таки моральная категория, то есть условная. На меня тут один наехал с вопросом, сколько у меня мужиков было. Честно ответила: «Так это же надо сосчитать...» Так он прямо лёг. А что я такого сказала? Я должна их всех в уме держать, что ли? Когда считаю от нечего делать, всегда сбиваюсь – получается то больше, то меньше. Тогда я поделила: сколько до замужества и сколько – после. Так легче считать. Хотя все равно приходится одно число держать в памяти, когда считаешь остальных. Среднестатистическое число чуваков, которые то ли меня харили, то ли я – их: как придется. Полтинник наберется. Да еще не вечер, хоть бабий век на исходе, но парочка-другая, смотришь, набежит. Бывшие, сущие, будущие. Я – как бабочка: с цветка на цветок свежий нектар собираю.

После первого раза никогда долго не простаивала, не просыхала, всегда при деле, пусть я и припозднилась: половонедозрелая мокрошелка, уж не знаю, для кого берегла свои первины – застоялась в девках. Хоть сертификат девственности выдавай! Наверное, лишних года полтора проходила целой, столько возможностей упущено! А сколько ко мне подваливало, как кобели к сучке, когда у той течка. А у меня и была течка. На запах шли. Мне льстило,

что меня кадрят и клеят, хотя не очень тогда понимала, что к чему. Зажатая была. Очень возвышенно и с оторопью к этим делам относилась. Принца ждала и вовсю, неистово, ночи напролет мастурбировала – утром такие вот огромные синяки под глазами, стыдно показываться на людях: боялась, поймут с первого взгляда. Евтушенковское «Кровать была растелена, а ты была растеряна. Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?» было для меня чуть ли не откровением, а теперь – пошлая чернуха для таких вот романтических барышень, какой была я.

Нашелся, наконец – слава богу! – опытный, настойчивый, предприимчивый целколюб, от которого я бегала, бегала, бегала, пока не поняла, что никуда мне от него не деться, да и зачем? Истомила вся. Большой крови не было, зато тупая такая боль, но какая сладкая! Нет ничего прекраснее, когда тебе впервые за*уярят – аж до самого сердца! Как я благодарна ему за то, что он меня продырявил. Так бы до сих пор в девках ходила! Шутка.

А потом уж пошло-поехало – секс мне нравится сам по себе, все равно с кем. Ну, почти все равно. Беспорядочные связи, разгульный секс со случайными, с кем попадая, партнерами, а то и вовсе по-быстрому в купе или в тамбуре «Красной стрелы» с нечаянным попутчиком, даже не зная имени друг друга, а зачем имя? – разошлась по полной программе. Инициатива обычно исходила от них, а я – безотказная. Почему нет? Люблю любовь. Точнее, любви предпочитаю секс, а что такого? Любовь – чудо из чудес, но секс – с любовью или без – в разы лучше. Потом любви – поди дождешься: в отличие от секса. Злость-тоска меня берет, что не тот меня е*ет – нет, это не про меня. Мне вся эта лажа пох. Вот только моего дырокола нет-нет да вспоминаю – так хорошо мне никогда больше ни с кем. Спустя несколько лет мы с ним как-то пересеклись – не то. Два раза такое не случается. Как какой-то древний грек выразился: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вот бы снова стать целой, а меня бы кто уламывал, а потом уломал, сломал и вломился! Только так долго я бы больше не противилась – сама бы не выдержала. Похоть? Да, похоть. А что плохого? Похоть, а не любовь, и есть амок. Ладно, заменим на эвфемизм: похоть – это крутое одиночество плоти. Без регулярной еботы я не человек – погибаю. Думать ни о чем больше не могу, так нестерпиво.

Что любопытно, никто из моих трахалей замуж не звал: многие были женатики, а другие не хотели связывать себя: перепихнулись – и поминай, как звали. Странно как-то! Им бы только поволочиться да поиметь. Или это я их имела? А не подходила им ввиду доступности и безотказности? Тех баб, что ломались, считала кокетками: что выпендриваться, когда обоим позарез?

Несколько раз подзалетела, а один раз влипла – подцепила трипак от одного тролля, сравнительно быстро вылечилась, но стыдобища какая! Не только меня, но и младшую сестру таскали в диспансер на проверку – так положено. Глядя на мою распутную жизнь, сестра поспешила замуж – жили все вместе, а когда сестра уезжала в командировку, ее муж на всякий случай запирался от меня на ночь, подозревая, видимо, что я неумная такая сучка с бешеной маткой. Очень он мне нужен! После триппера я слегка тормознула и поубавила темп моей сексуальной активности, сбавила обороты – долгие периоды засухи. Похоть меня изводила, самообслуга больше не уестествляла, хоть всю ночь мастурбируй напролет. Утром встаю с недое*а – хуже, чем с недосыпа: сама не своя. Мне уже было 26, и я боялась, что так и останусь, матримониально выражаясь, старой девой, что в моем возрасте представляло известные трудности в смысле поиска партнеров, а у меня там так свербило и текло при одной только мысли про это, а мысли – непрерывны, и в трусах от моих влажных твердый такой нарост, хоть меняй каждые полчаса. Мокруха, а не человек! Самой предлагаться мужикам – а вдруг не так поймут, унижат, курвой или потаскухой обзовут? Что говорить, критический возраст, учитывая скоротечность жизни – жизнь проносится молниеносно, оглянуться не успеваешь. Вот тут он мне и подвернулся мой будущий муж.

На два года меня моложе. Нет, не девственник, конечно, но ужасный наивняк в этих вопросах – чисто голубок. Совсем как в том анекдоте, когда наутро мужик говорит бабе: «После того, что случилось, я как благородный человек должен на вас жениться». – «А что случилось? Что случилось?» В смысле, интим – еще не повод для продолжения знакомства. А он врзался в меня по уши. Да и я, не могу сказать, что ровно дышала. Надоели мне все эти случки с одноразовыми, как кондомы, проходимцами. А этот – интеллигент, художник, хоть и абстракционист, в постели заводной, всунет, а потом по много раз, не вынимая, у него вставал наново внутри меня, и он опять принимался за свое – без перерыва и без усталости. Всю ночь, бывало, не смыкаю ног. Оргазм за оргазмом. Ураганный секс. Простыню – хоть выжимай. А когда его член уже повисал, как тряпка, принимался за мои влажные укромные языком, начиная с венериного бугра, изводил меня, обцеловывая там всё, до куда доставал. Сначала было стыдно и щекотно, а потом втянулась. «Колешься», – сказала я как-то, так он, дурачок, побежал наскоро сбрить щетину вокруг рта, а я, распаленная, вся исходила от хотения, пока он вернулся. И снова возбуждался и меня возбуждал: не то что на стену – на потолок готова была лезть.

Одно не пойму – это я его заводила или он меня? Помытарствовав с одиночеством и похотью, я приобрела, наконец, законный хрен: чужого не надо, свое не отдам. Жаль только – ему больше, чем мне, – что в смысле потомства он трудился совершенно зря: мои ранние, один за другим, аборт сделали меня неплодной. Нет худа без добра: не надо предохраняться и трястись от страха при каждой задержке с месячными. Это же расширяло возможности для замужней женщины кайфовать на стороне. Нет, любовников у меня пока не было, но, как девушка многоопытная, я не то что грезилась, а предполагала – ну, не исключала – самой такой возможности. Почему нет? Верная жена сексуально закидает в супружестве, разве нет? Пошалавиться мешала его половая активность – я не успевала проголодаться, чтобы подумать о другом мужике. А это уж точно знаю: чтобы возникло желание, нужна если не полная аскеза, то хотя бы крутая диета. Как во сне жила: тихая гавань замужества, считай, второе девичество, но на этот раз бестревожное, покойное, заупокойное. Шучу.

Если быть до конца честной, это он сам подтолкнул меня на внебрачные отношения. Кабы не та злополучная ночь, когда мы вернулись из гостей, и я ему всё выложила, по возможности смягчив инцидент, чтобы не ранить его нежную душу: про прерванный поцелуй рассказала, а про обжималки и что тот полез ко мне лапой между ног, и я слегка их раздвинула, чтобы ему сподручней, а мне приятней – молчок, хотя здесь и загвоздка: подзавел меня, когда орудовал там пальцами и довольно глубоко продвинулся. Будь наедине, без вопросов – сделали бы. А почему нет? Баба я без комплексов, без предрассудков, без удержу: при родах свое берет, хоть при мне мой законный. Выходит, мало. Или разнообразия захотелось? Может, я в самом деле нимфоманка? Ничего плохого в том не вижу. Лучше, чем фригидка. А по мне, здоровый половой аппетит. Что мне делать с моей плотью? Я виновата, что родилась женщиной? С некоторыми приходилось даже затаивать свой темперамент, а то не только из своего опыта, но и по статистике знаю, что мужики предпочитают фригидок нимфоманкам, вот комплексанты, своего неадекватно опасаются. Пушкин и тот – «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» и прочее. А милее ему, оказывается, его ледяшка Натали, которая делила его пламень поневоле, а потом ему рога наставила с императором – с ним то небось проявила себя на полную катушку. По гипотезе Владимира Соловьева, о котором впереди. А что, если родоначальник ей физиологически не подходил, коли она склонялась на секс с ним только после долгих молений, зато император был долбан-дока? Первый на деревне. То бишь в империи.

Так вот, я и решила, что повинную голову меч не сечет, и поведала ему усеченную и откорректированную версию кухонного ЧП. Так он устроил мне скандал на всю ночь. Из-за чего? Ничего же не было.

Подрядилась тогда мыть посуду, а этот фрик от поэзии за мной на кухню увязался, будто в помощь. Сразу догадалась что к чему. Ничего против – почему не позабавиться, когда сама на взводе? Да еще в легком подпитии была, а уболтать меня после нескольких рюмашек ничего не стоит. К посуде мы так и не притрунулись, а сразу вцепились друг в друга как помешанные. Ни дать ни взять разговение после замужнего поста. Вот тут и появился, шатаясь, еще один гость, редактор журнала с провальной челюстью, сильно под градусом, но быстро врубился, что к чему: «Продолжайте, продолжайте. Простите, что помешал». Тактичный? А что, если я призналась мужу, упреждая возможный донос этого невольного соглядатая, когда он протрезвеет? Из мужской солидарности или просто трепло, чтобы языком почесать? Не знаю, что на меня нашло, зачем без всякой надобности раскололась – из-за страха разоблачения? по нахлынувшей на меня вдруг патологической какой-то честности? или чтобы мужа раззадорить, потому что сама возбудилась? В конце концов, что тот, что этот – мне фиолетово. Ну, без разницы. А тут вместо полноценного секса – безобразный разнос из-за какого-то жалкого да еще прерванного поцелуя. Всю ночь меня полоскал. Хорошо хоть про остальное умолчала.

До меня даже не сразу дошло, чего это он так разошелся: что я целовалась или что целовалась с его близким, а по тем временам ближайшим другом. Вскоре мнимые, как оказалось, друзья разбежались – неужели из-за того злосчастного поцелуя, гори он синим пламенем? Идеологический окрас, под которым муж представил конфликт – один левша, а другой правша, – уверена, не более чем камуфляж, а в основе основ – все тот же случайный, пустяшный поцелуй, который и поцелуем не назовешь. А может, и вся их компашка в конце концов распалась из-за меня?

Честно, тогда мне не очень и хотелось, просто представился случай, в шумной компании и в подпитии мы на пару минут остались одни, а что еще было делать, как не целоваться, да еще с оглядкой на дверь – не войдет ли кто? Такого рода опасности еще больше распалют. – Подстава! Ты делаешь меня уязвимым! Дико подводишь! Обнажаешь тыл! – заводился муж всё больше и больше. – И нашла с кем! С моими знакомыми! Мы не только соратники, но и соперники, я не самый талантливый, не хочу вступать еще и в мужское соревнование. Уж коли тебе так приспичило, шпарь на панель и ищи на стороне. Мне по фигу.

Врет, что по фигу – не такой уж он пофигист, а собственник, единоличник и ревнивец. Это что! Стырил ревнивый сюжет у какого-то макаронника эпохи Возрождения и написал ремейк на античную тему? Или как он говорит, апдейт. Или апгрейд – не помню. У моего не слабже, чем у этого – эврика! – Тинторетто. Утомленная от перепиха с любовником голая Венера и ее муж, кузнечный бог Вулкан, заглядывающий ей между ног, ища там следы измены, а Марс, чтобы не быть застигнутым на месте преступления, прячется в собачьей конуре, и жалкая какая-то собачонка облаивает бога войны и вот-вот выдаст, сучка! Только вместо Венеры мой изобразил меня, заставил позировать, ноги чуть не шпагатом раздвинул, похабник, собаку заменил нашим котярой, спина дугой и шипит на моего дружка, а у того лицо размыто, зато мощная, на загляденье, елда торчит, только что вынутая и не успевшая еще принять висячее положение. И свой автопортрет втиснул, а вперился в мою разиню не то с подозрением, не то с вожделением, понять трудно. Или подозрение как раз и вызывает у него вожделение? И все это в непривычной для него почти натуралистической манере, хоть пропорции и сдвинуты, и член у моего пожарника неправдоподобно велик, а вместо лица кровавое месиво – все на подозрении, а кто именно – неизвестно, но готов рыло размозжить. И все в таких красно-синих тонах – жуть берет! Никто, кроме меня, это его полотно не видал, а по мне лучшее у него.

– Ты что, меня блядем считаешь? – заорала я, ту картину вспомнив и слегка испугавшись.

Чем больше человек не прав, тем сильнее бранится. Лучшая защита – нападение.

– Я тебя блядем не считаю. Я тебя люблю.

– А если бы я была блядем? – поинтересовалась я.

Когда мы начали встречаться, я рассказала ему о прошлом, но в разы преуменьшила, конечно, размах моей половой активности, коли он придает этому такое значение – зачем зря причинять боль? А я не заточена на правде – что еще за фетиш такой? Правда – хорошо, а счастье лучше.

Вот тут он и выпалил, что я навсегда запомню:

– Я люблю тебя такой, какая ты есть. Твое тело принадлежит тебе. А мне – во временное пользование... – И нервно ржет.

– А как насчет моей вулвы – она кому принадлежит? – кричу я, но молча. – И что за условность? Почему мы можем обмениваться рукопожатиями или поцелуями, а не генитально? Чего-то я не секу.

– Но с моими друзьями – не моги и думать! – продолжает он всерьез.

– А ты уверен, что они тебе друзья?

– Не знаю.

Тогда я ему и сказала, как одному его сопернику дала от ворот поворот, хоть тот и кадрил, да не обломилось: ни ему, ни мне. Так ему и врезала: «Отвали! Ты же сам этого не хочешь», – догадываясь, что этот позорник отмороженный скорее из мстительных, а не из честных побуждений. Говорят, что даже изнасилование обычно не из похоти, а для самоутверждения. Не знаю, бог миловал: ни меня никто не насиловал, ни я – никого. Короче, доложила обо всем – то есть ни о чем – мужу, а он опять вызверился, в бутылку полез, было бы из-за чего:

– Что за аргумент? Дичь! Не могла отшить круче? А если бы он хотел тебя по-настоящему? Что тогда?

– На тебя не угодишь, – рассердилась я.

Как часто потом меня так и подмывало во всем ему признаться – выложить всё напрямки, коли он любит меня такой, какая я есть. Сильнейший искус – соблазн, который я с трудом преодолевала. Может быть, чтобы придать нашим отношениям пикантность – ревность распаляет больше любви? Ревность распаляет любовь. Своего рода приправа для остроты переживаний. Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит? А я уж и не помню, когда была беленькой и пушистой. Да и была ли, когда даже целой вся исходила от похоти и влажности и сама себе вдвухала в режиме самообслуживания? Проехали.

Два моих портрета написал – опять-таки абстрактных, но слегка, смутно узнаваемых. Все признали их шедеврами, а он говорил, что это «шедевры его любви». Я так думаю, что я сама была его шедевром – так преобразила меня его любовь, вся расцвела, что не только в его глазах, но и в моих собственных казалась себе раскрасавицей.

А когда собачились всю ночь из-за того злосчастного поцелуя, совсем о другом подумала. Легко сказать, чтобы не с его знакомыми. А с кем? С замужеством у меня не осталось больше собственных знакомых. Да и было – на пальцах одной руки перечесть: всё бывшие не скажу «сожителю» долго не задерживались. С кем еще мне блудить и куролесить или кому поведать о моих внебрачных приключениях, которые вторглись в нашу размеренную, рутинную, немного скучноватую супружескую жизнь? Ни доверенных подруг, ни просто близких, отдельных от друзей мужа, у меня самой никого не было. Одна-одинешенька. Не мамаше же рассказать – та бы, конечно, словила кайф от любой моей интрижки на стороне, ненавидя, как и положено, зятя. Тем более, тот – еврей, а мамаша не без того – с тараканом в голове. Или лично в нем еврея невзлюбила? Потому что среди ее подружек евреек навалом и даже бойфренд на старости лет семитской породы – такие же стоеросовые, как она. А муж, как и его друзья-приятели, продвинутые такие евреи, полукровки, породненные из титульной

нации, вроде меня, шиксы, а то и вовсе чучмеки, чем отличались от прежних моих знакомцев и долбанов. Но маманя нашу космополитную шарашку не больно жаловала и однажды, на моем дне рождения, прямо так и сказала: «Как ты можешь? Одни евреи» – и ткнула пальцем в артиста из «Современника», чистокровного армяшку. По-своему она была права. Ведь они и сами называли свою супертусу, каких в Москве тогда днем с огнем, обобщенно: Jewniverse.

Со своими заморочками, конечно, иначе с чего бы они стали стебаться и прикалываться на свой счет, травить антисемитские – мороз по коже! – анекдоты, типа «Сколько евреев может поместиться в одной пепельнице?» И хоть антисемитизм, говорят, наследственная болезнь, лично у меня – ни в одном глазу. Как сказал их писатель-классик: хучь еврей, хучь всякий. Тем более, в генитальном смысле, как выяснилось, никакого отличия – из тех, кого оттрахала, ни одного обрезанца. Мы не в Израиле и не в Америке, где я тогда еще не была. Хотя и ничего не имею против тех, кто без крайней плоти. Почему нет? Говорят, дольше усердствуют, потому что кожа на головке – задубелая, бесчувственная.

Одного понять не могу: если Бог дал им крайнюю плоть, зачем Он требует ее обратно: обрезание как обязательное условие договора между ним и избранным народом? Почему сам не лишил их крайней плоти в утробе матери? Что ему стоило? А так что же выходит: обрезание – это редактирование произведений Бога. Вот именно! Касаемо меня, то хоть и не с чем пока сравнивать, но так люблю это двойное движение необрезанного члена – не только во мне, но и в собственных ножнах. Тем не менее, я за расширение сексуального опыта. Не обязательно еврей – можно и муслим, хоть сейчас их все ненавидят и боятся. Но я же не обо всем их племени, а токмо о единичном представителе – из чистого любопытства.

Была у меня еще далекая-предалекая школьная подруга, с которой мы сидели на одной парте и играли во врачей – больных, доводя друг дружку до полного экстаза и сладкого изнеможения, но при встрече через несколько лет оказалась совсем уж затюканной, заматерелой, убогой и неузнаваемой – так обабилась в замужестве и материнстве. Вот и получилось, что все мои друзья теперь – друзья мужа. Тусовочный, гламурный, элитный мир. Сплошь артисты, режиссеры, поэты, художники, редакторы, критики. Со стороны – оазис, но без большой любви между ними – скорее с трудом скрываемая зависть и прямое соперничество. Иногда тот, кто проигрывал другому в художествах, брал реванш у жены победителя. Распадались пары, становясь темой пересудов и сюжетом искусства. Сплетни быстро превращались в мифы.

Что далеко ходить, та же питерская компашка, хоть Бродского мы тогда недооценивали, а о Довлатове слыхом не слыхивали: 650 километров, а какой разрыв во времени! Тех же «ахматовских сирот» взять, три «Б»: Бобышев, уступая таланту и славе Бродского и весь обзавидовавшись, уломал зато его подружку Марину Басманову, хотя и уламывать, думаю, не надо было: секс – это улица с двусторонним движением, насильно мил не будешь. Настоящий мужик всегда добьется от бабы, чего она больше всего хочет. А бывает и наоборот, по себе сужу: настоящая баба и так далее. Если женщина кому не отказывает, то это она не отказывает самой себе. А ревность – негативное вдохновение, вот Иосиф и выдал с пару дюжин классных любовно-антилюбовных стишков – вместо того, чтобы придушить свою герлу, как Отелло Дездемону. Сублимация, так сказать. Вся эта история докатилась до нас в первопрестольной, как пример, что такое хорошо и что такое плохо. И к чему приводит такой вот, пользуясь определением Довлатова, перекрестный секс – к великой поэзии и ранней смерти. А прикончил бы изменницу – и всех делов: мог жить и жить. Пусть поэзия и лишилась бы нескольких шедевральных стишков. А так что получилось? Триумф и трагедия. Трагедия и триумф.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.